

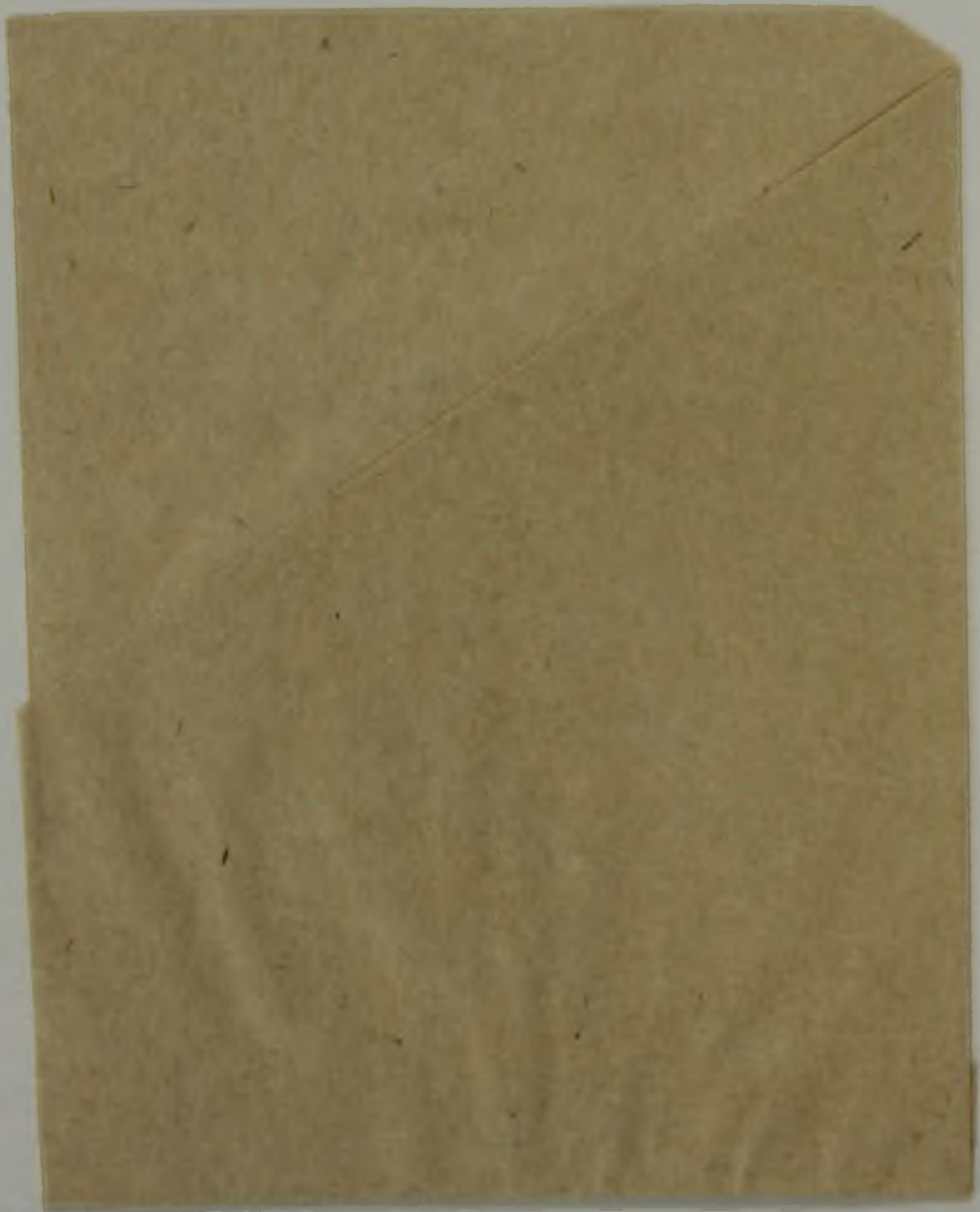
184 (з. Рос. = Рус.) 6-4  
4 48

Павел  
ЧЕРКАШИН

Анастасия



10 15 20



ПАВЕЛ ЧЕРКАШИН

Окружной  
Библиотеке  
Ханты-Мансийского  
автономного округа  
на добрую память и нашу память.  
с пожеланиями всего нашего народа.  
Автор.

30.11.99.

Черкашин

# АНАСТАСИЯ

Рассказы

- 59802-2

Ханты-Мансийская государственная окружная библиотека	обязательный экз. ХМАО
--	------------------------------

Тюмень — 1999

Тюменская областная типография

Ханты-Мансийская государственная окружная библиотека	КО
--	----

84(2Рос-Рус)6-4  
ББК 84 Р0  
К 4-48

ISBN 5 — 88131 — 109 — 4

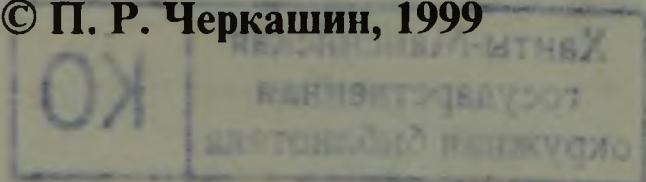
**Редактор  
С. Б. Шумский**

**Художник  
Д. Н. Королев**

**ГУП «Тюменский издательский дом»  
Лицензия ЛР № 071015 от 28.12.93**

598021

**© П. Р. Черкашин, 1999**



СЕРИЯ «ПЕРВАЯ КНИГА»

ПОСВЯЩАЮ  
РОДИНЕ И  
ЗЕМЛЯКАМ

## *Родине и землякам своим посвящаю*

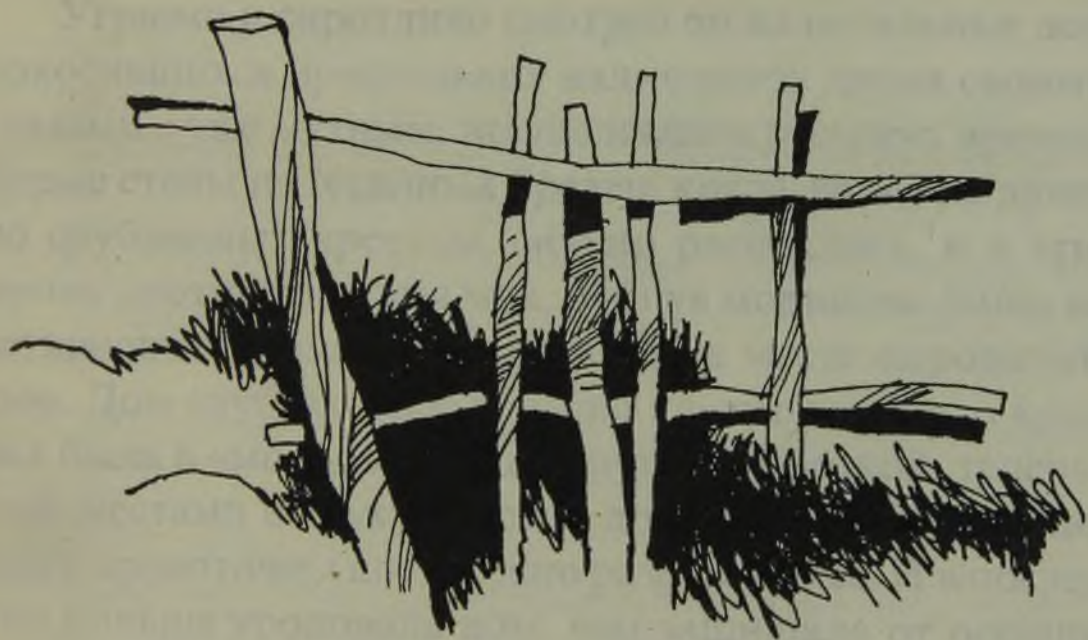
Посвящаю Родине и землякам своим посвящаю  
Мир, дружбу, любовь, счастье, благополучие,  
здоровье, долголетие, процветание,  
успехи, победы, славу, честь, уважение,  
любовь, уважение, доброту, милосердие,  
справедливость, честность, верность,  
силу, выносливость, мужество, отвагу,  
храбрость, смелость, решительность,  
целеустремленность, настойчивость,  
дисциплину, организованность, ответственность,  
активность, инициативность, предприимчивость,  
творчество, изобретательность, инновации,  
развитие, прогресс, современность, будущее,  
мир, дружбу, любовь, счастье, благополучие,  
здоровье, долголетие, процветание,  
успехи, победы, славу, честь, уважение,  
любовь, уважение, доброту, милосердие,  
справедливость, честность, верность,  
силу, выносливость, мужество, отвагу,  
храбрость, смелость, решительность,  
целеустремленность, настойчивость,  
дисциплину, организованность, ответственность,  
активность, инициативность, предприимчивость,  
творчество, изобретательность, инновации,  
развитие, прогресс, современность, будущее.



Павел Черкашин родился в 1972 году в селе Мужы Шурышкарского района Тюменской области. Окончив на родине восемь классов, приехал в Тюмень и поступил в педагогическое училище №1 на учителя младших классов. Затем продолжил обучение на филологическом факультете Тюменского госуниверситета. Литературным творчеством стал заниматься с 11 лет, но более зрелые вещи стали создаваться гораздо позднее. Первая публикация появилась в печати в 15 лет. Неоднократный участник областных семинаров молодых литераторов. Его рассказы печатались на страницах областных газет «Тюмень литературная», «Тюменская правда», «Тюменские известия», «Наше время».

«Анастасия» - первый сборник художественной прозы молодого прозаика.

# ПОЛУСТАНКИ ЖИЗНИ







# СТАРИКИ

(этюд)

Знавал я одного старика, Шубина Семена Трофимовича. Жил он в глухой сибирской деревушке, где и улиц-то не было, а дома срублены так, как того хозяин желал, и потому располагались без всякого порядка. Дом Трофимыча, так все звали старика, ютился на самом краю деревни, даже несколько на отшибе от всех.

Угрюмо и сиротливо смотрел он на остальные дома из-под покосившихся простеньких наличников двумя своими окнами-глазами с уже мутным, но уцелевшим с давних времен стеклом. Бурые стены из тесанных бревен, когда-то очень давно доброт-но срубленных крестом, сильно рассохлись, и в этих черных щелях плотно разросся мох, рубцуя морщины-раны все больше ветшающего дома и оставляя на их месте сыроватый зеленый шов. Дом глубоко врос в землю по самые окна, а крыша, которая была в «молодые» годы крутой и крепкой, теперь рассыпалась местами в труху. Частые дожди, сильные северные ветры, жуки-древоточцы постепенно разрушили ее. И в последние годы она больше уродовала дом, чем защищала от осенних ливней, возвышаясь бесформенным горбом на его непрочной спине.

Даже издалека было видно, как стар этот махонький невзрач-ный домик, весь в пятнах мха и лишайника, с полуразвалившейся, как старый пенёк кедра, закоптелой трубой.

Трофимыч тоже был стар. И даже чем-то похож на свой до-

мишко. Прошлой осенью ему исполнилось восемьдесят четыре года.

Он давно был сед. Смуглое лицо с годами ссохлось и пожелтело, а морщины смяли в темные складки все черты лица, оставив мелкие островки дряблой кожи. Когда Трофимыч молчал, то губ не было даже видно: на их месте тянулась глубокая борозда, которая изгибалась полумесяцем вниз. И лишь когда дед хотел что-то сказать, борозда вдруг начинала дрожать, превращалась в темный проем, и оттуда слышались тихие хриплые звуки.

Трофимыч, конечно же, был большой молчун, и разговаривать его было крайне трудно. Когда он кого-либо слушал, то «отвечал» собеседнику больше выражением глаз, мимикой или спокойными движениями, а говорить избегал, да и трудно ему было это: часто он закашливался, и тогда все сгорбленное тело деда судорожно вздрагивало от приступа кашля, и на грустных глазах выступали крупные слезы, которые тут же терялись в морщинах.

— О-хо-хо, — произносил Трофимыч страдальческим голосом, тяжело дышал и осторожно шел дальше, опираясь на неровную сучковатую палку, верную помощницу в недалеких путешествиях до единственного в деревеньке магазина. Палка жалобно скрипела, обреченно тыкаясь тупым концом в притоптанный снег узкой тропинки, петлявшей между массивными сугробами, и слегка дрожала в немогущей руке деда.

На деревне Трофимыча знали все, но никто не был с ним в близких приятельских отношениях. Его друзья, с которыми он еще десять лет назад балагурил летними вечерами на широкой завалинке и которые шутливо называли его Тропинычем за то, что лучше всех знал окрестные таежные тропы, уже покоятся на маленьком деревенском кладбище, что приютилось тут же около деревни, в березничке. А у молодых семей свои дела, свои друзья, хотя из сострадания и уважения к старости помогают ему.

Да и сам Трофимыч сторонился людей, считал, что его вре-

мя давно кануло в прошлое и незачем мешать молодым. Но ко мне он почему-то имел доброе дружеское расположение и говорил охотно, однако слишком расточать слова тоже не любил. Может быть, чувствовал во мне такую же одинокую душу, несмотря на большую разницу лет. Мне была приятна стариковская приветливость, и я отвечал ему тем же. Частенько зимними вечерами я сиживал у него, слушал рассказы и всякую бывальщину.

В эту зиму я бывал у Трофимыча гораздо чаще, чем в прошлые годы. Хорошо было посидеть за горячим чаем в умудренном покое стариковского дома, когда за окнами бесится пурга и ничего не видно за снежной круговертью.

Так было и на этот раз. Третий день сильно буранило. Плотной завесой хороводил колючий снег, обхватывал меня со всех сторон. Всюду, на сколько хватал взгляд, косматились вихри. Они то явственно проступали из ночной тьмы, то беспомощно рассыпались, уносимые властным ветром. Надрывно ныли провода, и единственный в нашей округе фонарь бросал бледный жиденький свет на ближайшие десять метров. Он часто мигал, и когда, мотнувшись в сторону, гас, холодная мгла совсем наваливалась на меня, давила своей непроглядностью.

Все тропинки были щедро заметены, и я шел наугад через огромные снеговые хребты, ориентируясь только на слабый мутный свет от ближайших окон.

Дошел до знакомой повалившейся изгороди, поднялся по занесенному крылечку до двери, толкнул ее плечом и тяжело ввалился в сени. Отряхнулся в темноте от снега и перевел дух. Затем отворил вторую дверь и вошел внутрь дома. В нос ударил знакомый застоявшийся запах ветхой избы.

Трофимыч закричал, поднялся навстречу и натужно произнес:

— Думал, и не придешь сегодня. Погодка-то! О-ёй!

— У-уфф, убррро-одно! Да и не видно ни зги. Что за зима!

— Да-а, лютует... Так ведь Рождественские на дворе, как ина-

че-то. Оттого и разошлась, ведьма, — сказал старик и глухо усмехнулся. — Погоди ишо, вот Крещенские будут... Хм-м... Ну, хорошо, что пришел. Озяб?

— Вообще замерз! Как только нос не отвалился!

— Хм-хм..., м-м-мда, — промычал старик и, словно очнувшись, сказал:

— А я уж и чай заварил, пока тебя дожидался.

— Чай! Это замечательно! Поди, еще с рябиной?

— С ней.

— Люблю с рябиной! Да еще с такой зверской стужи.

— Знаю.

— Ох, Трофимыч, балуешь ты меня.

— Да чего уж там, — засмутился дед. — Садись за стол.

Трофимыч ушел на кухню, погромел там посудой и через некоторое время вышел, неся в руках две местами обитые кружки и надтреснутую фарфоровую сахарницу.

Мы пили чай. Я осторожно втягивал в себя обжигающую оранжево-золотистую жидкость, понемножку глотал и с наслаждением ощущал, как растекается горячая струйка по всему телу, согревая его. Горьковато-терпкий привкус рябины вливал новые силы, приятно бодрил голову. Блаженство!

За чаем и разговорами незаметно прошло, наверное, полчаса. Вдруг я заметил, что из-за края тонкой перегородки на кухню на меня внимательно смотрит черная мохнатая морда Верного.

«Не встретил, как обычно», — только сейчас отметил я.

Это был совсем уже старый крупный охотничий пес. Он тоже доживал свой собачий век, и в последние два-три года сильно одряхлел.

— Верный, — позвал его Трофимыч, — поди сюда.

Пес поднялся с задних лап, вышел из-за перегородки и тяжело запереваливался с боку на бок, зацокал когтями по половицам. Проковылял несколько шагов и неловко с выдохом осел подле старика-хозяина.

Он был по-собачьи сед. Кроме белых бровей и усов, которые топорщились на морде в разные стороны, серебристые шерстинки проступали по всей шкуре и особенно по хребту, где сливались в сплошную белесую полосу. Глаза Верного глядели страдальчески и как-то обреченно. Он тяжело дышал и мелко, как от озноба, подрагивал всем телом.

— Что, старина, не подход еще? — насмешливо спросил дед, помолчал и уже печально добавил:

— Я вот тоже.

— Ну, Трофимыч, брось ты это. Зачем же смерть свою торопить?

— Да уж отгуляли мы с ним свое, отгуляли. Теперь вот только маемся. Каждый божий день хворь какая-нибудь привяжется, ночь лежишь, стонешь... Да и глаза у меня стали совсем никудышные. Очки мои видел? Стекла у них — с палец. Во! А давно ли мы с Верным еще на белок хаживали! Точнехонько в глаз бил! Да-а, было время... Кха-кха-кха...

Трофимыч закашлялся, медленно развел руки в стороны и бессильно уронил их обратно на колени. Затем еще медленнее встал и ушел шаркающими шагами на кухню. Когда вернулся, на его острые плечи была накинута сильно поношенная, обремкавшаяся по краям клетчатая шаль.

— Что-то зябко мне стало, — сказал надтреснутым голосом Трофимыч, пододвинул расшатанный табурет ближе к печке и замолчал. На этот раз надолго.

Старый пес последовал примеру хозяина, тоже перебрался на дрожащих лапах к печной дверце, за которой порывисто гудело пламя, и с шумным вздохом сел на задние лапы.

В избушке воцарилась уютная тишина.

Мерно чакали на стене ходики, зажатые с двух сторон древними помутневшими портретами, мирно гудела печка, потрескивала полешками. От печного жара, прозрачными волнами поднимающегося вверх, все предметы были расплывчаты и неясны. На покосившихся стенах вздрагивали огненные тени, и

лицо старика тоже было щедро освещено теплым оранжевым светом.

Трофимыч по-прежнему молчал. Видно было, что дед крепко задумался. Он почти не моргал, а только щурился и смотрел на жаркие всполохи огня, которые отражались в его воспаленных глазах. Вдруг он повернул голову к псу. Тот тоже обернулся к хозяину, и они долго смотрели друг на друга, видимо, вспоминая что-то очень давнее, известное только им двоим. Потом Трофимыч вздохнул и горестно кивнул старому другу. Пес в ответ слабо шевельнул ушами, грузно переступил с лапы на лапу, и они снова стали глядеть, как стреляют догорающие дровишки, и слушать привычное гудение старой печки.

Я взглянул на ходики. Они показывали половину двенадцатого.

«Однако пора собираться», — мелькнуло у меня в голове. Я тихо оделся, получше укутался и подошел попрощаться с Трофимычем.

— Ну пора, я пойду.

Трофимыч не ответил. Возможно, даже не услышал меня. Только пес нехотя посмотрел в мою сторону, и тут же повернулся обратно, втягивая носом разогретый воздух.

Я заулыбался, глядя на этих старых друзей, и тихо вышел из дома.

Когда прошел несколько шагов, то невольно взглянул назад. Дом стоял еще больше занесенный снегом, и махонькие окошки были уже наполовину упрятаны за высокими плотными наметами.

Сейчас я далеко, но вот они передо мной: вросший в землю, горбатый и развалившийся домик, беспрестанно болеющий и добрейший дед Трофимыч и его дряхлый пес Верный — милые мне старики.

## ВЗГЛЯД МАТЕРИ

Валера решительно опрокинул стопку, скривился, шумно занюхал ржаной краюхой и закусил луком. Обвел бесцельным взглядом комнату, облокотился на стол и подпер могучим кулаком колючую щеку. Внизу, у ножки стола, уже стояли две пустые бутылки.

—Михаило! — позвал Валера, оборачиваясь всем корпусом к кровати. Никто не откликнулся.

—Мишка! — нетерпеливо повторил он. Кровать заскрипела, и глухой голос сонно ответил:

—Чего?

—Вставай. Хватит дрыхнуть.

—Отвали. Я сплю.

—Я за бутылкой сходил.

—Да? — оживился сразу Михаил. — А не врешь? Он с деланным видом одолжения поднялся, прогромыхал сапожищами к столу и грузно опустился на табурет.

—Ишь ты. И, правда, купил. А выдюжим, третью-то?

Валера пропустил последнюю фразу мимо ушей, налил до краев в стаканчики, прищурился вдруг и в лоб спросил приятеля:

—Миш, ты когда-нибудь видел, как крыса рожает?

Михаил опешил и недоуменно поглядел на друга.

—Не-ет. Откуда?

—Да-а, брат — прятаются, — как-то задумчиво и с удовлетворением протянул Валера. — Кошек тоже редко увидишь, когда рожают или с котом любят.

—Ну, кошек — да. А крысы... к ним в нору что ли лезть будешь? — Михаил пожал плечами. — А ты чего спросил-то? Видел, что ль?

—Ага. Вчера в кладовку пошел, коробку в углу сдвинул, и она там, в гнездышке своем.

—И не убежала?

—В том-то и дело! Лежит, дрожит вся и на меня как-то сильно пристально смотрит, с отчаянием даже. Я аж замер от удивления. Вдруг гляжу, а у нее, то есть из нее крысеныш вылазит. Рожает, значит. Потом второй полез, быстро так. Тоже гладкий да мокрый. Она их облизывает, а сама на меня поглядывает то ли виновато, то ли еще как не знаю.

—Ну, геро-ой! Сразу убил или, как акушер, до конца присутствовал?

—Да никого я не убил. Зачем? Взял в кладовке, что надо было, и ушел.

—Хм, ну и дурак, значит, — сказал, как припечатал, Михаил. Затем опрокинул стопку, крякнул и налил снова.

—Сам дурак! — обиделся Валера. —Зачем убивать-то? Она же рожала.

—Ага, еще дюжину таких же вредителей! У тебя что, винтик из головы выпал? Пожалел! Да их всех сразу давить надо было. Хоть бы кирпичом запустил что ли!

—Да ты что! — вскинулся Валера. — Это ж не честно! Понимать надо! Она ж матерью стала!

—Кто? Крыса! Хэ-э-э, даё-ошь!

—Ну, смейся-смейся, — насупился Валера. — А для меня хоть кто рожай — святое дело. То, о чем ты говоришь, это подло. Вот когда в капкан попалась, тогда все по честному.

—Ну-ну, жди, — насмешливо заключил Михаил и опять выпил. — А тараканиху беременную тоже не задавишь, сжалишься? — спросил он, закусывая.

—Чего?

—Да вот: как раз! — воскликнул тот, хлопнул по краю стола и протянул Валере на ладони рыжее насекомое с раздавленной головой и тугим прозрачным брюшком. — Во! Так сказать, на последнем месяце ходит. То есть ходила.

—Фу, пакость! Убери.

—Противно? Значит, убьешь.

—Ну таракана-то при надобности, конечно, раз-



давлю. Комаров ведь тоже шлепаем.

—А как же твое «святое дело»? — подковырнул Михаил. Валера смущенно закричал, заерзал на стуле.

—Тут, понимаешь, дело в другом.

—В чем?

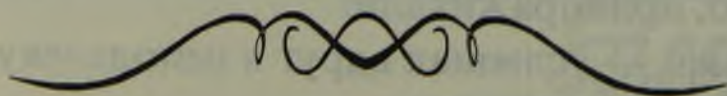
—В разуме, что ли.

—Это как же?

—Ну, так. Мне таракана не жалко, потому что я в нем разума не чувствую. Он ведь что: крошку сожрал да убежал — и так всю жизнь. А крыса или мышь — уже нет. У них хотя бы хитрость есть. И еще, я когда на ту крысу глядел, у нее в глазах что-то особенное было. Осмысленное. Как бы точнее-то... Взгляд матери — вот что. Очень, знаешь, такой взгляд, проникновенный. Все в нем. Я вот, как и ты, девятый год забойщиком скота работаю, вроде бы уже самое привычное дело, профессионал, а не поднялась рука, не посмел. Взгляд этот остановил. Материнский. Это все равно что, если бы на свою родную мать руку поднял. Так что, Миша, зря ты, наверно, меня дураком обозвал. Тут в другом дело. Я вот даже не знаю, как завтра на работу идти, в глаза коровам смотреть. Все у меня внутри перевернулось. А ты говоришь, давить всех.

Михаил уже захмелел, и, видимо, что-то тоже проснулось и толкнулось в его сердце хорошее, просветлило душу. Он больше не ехидничал, а наоборот молчаливо кивал головой на слова Валеры.

Откуда-то с потолка на тонкой струне-паутинке спустился молодой паучок. Покачался нерешительно над столом, спустился еще, коснулся лапками столешницы и настороженно замер. Но ни одна рука не опустилась, чтобы убить эту маленькую жизнь.



## **МАЛЬЧИК И ЗВЕЗДЫ**

(лирический этюд)

Разверзлась бездна, звезд полна,  
Звездам числа нет, бездне — дна.

М. Ломоносов

Это было нынешней зимой.

Я стоял поздно вечером на автобусной остановке и ждал нужного маршрута. Автобуса все не было. Невдалеке от меня переминались в молчаливом ожидании еще человек пятнадцать. Они ежились от холода и постукивали ногами по утоптанному снегу, чтобы отогреть озябшие ноги. Хмурые взгляды горожан были направлены вниз, и лишь иногда усталые взоры устремлялись в темный проем улицы в надежде увидеть долгожданный автобус.

И только один мальчик, лет скорее всего девяти, явно выделялся из толпы.

Мальчик смотрел в небо.

Он не жался от холода, как остальные, не расхаживал монотонно из стороны в сторону, а наоборот стоял и, запрокинув голову, замороженно смотрел вверх. Как будто чего-то ждал оттуда.

Я заинтересовался и тоже взглянул туда.

Далеко в небе мерцали яркие звезды, похожие на крохотные льдинки. Была на редкость ясная ночь, и черный купол неба просто переливался от блеска этих холодных искринок. Звезды, действительно, привораживали!

— Дяденька, — услышал вдруг я неподалеку детский голос и оторвал взгляд от звезд.



Ханты-Мансийская  
государственная  
окружная библиотека

KO

- 59802 -

17

Ханты-Мансийская государственная окружная библиотека	обяза- тельный экз. ХМАО
--	-----------------------------------

Это мальчик подошел к стоящему по соседству от меня мужчине. Тот рассеянно смотрел вперед, курил и сперва не услышал, как к нему обратились.

— Дяденька!

— М-м, ты мне? Чего?

— Дяденька, скажите, пожалуйста, что это за звезда? — и он указал рукой в небо.

Мужчина скучно посмотрел на звезды, пыхнул сигаретой, потом пожал плечами и буркнул:

— Не знаю.

— Извините, — с сожалением сказал мальчик и отступил в сторону. Тихо вздохнул. Обернулся в надежде спросить еще кого-нибудь и встретился взглядом со мной. Я едва заметно кивнул. Он обрадованно улыбнулся и подошел ко мне.

— Вы — знаете?!

— Может быть. Тебе какую?

— Вон ту! Видите? — и вновь маленькая рука потянулась в небо.

Я наклонился к плечу мальчика и почти сразу увидел желтенькую звездочку. Внутренне успокоился, узнав ее.

— Это Арктур, — произнес я, когда повернул голову к мальчику.

— Правда! — удивленно и с радостью выдохнул он.

— Да.

— Арктур... Красивое название. А в каком он созвездии?

— Кажется, Волопас... Да, Волопас.

— Волопас. А что это значит?

— Это... Это человек такой. Волон который пасет. Быков таких больших. Есть ведь — свинопас. Вот и Волопас тоже есть.

— А звезда, значит, Артур называется?

— Нет. Арк-тур.

— Арктур, Арктур... Спасибо! А какие еще есть звезды?

— Звезд, сам видишь, тысячи.

— Нет, ну таких, чтоб запомнить можно было и найти.

— Ну, смотри, — и я стал перечислять, показывая, знакомые мне звезды. — Вот это — Капелла, а вот эта, что ниже — Альдебаран. Вон Кастор и Поллукс — братья-близнецы.

— А я родился под знаком Близнецов!

— Ну вот, теперь знаешь, где находится твое созвездие. А во-он там, видишь, яркая, часто переливающаяся звезда?

— Вижу.

— Это — Сириус. Правда, красивая!

— Ага! Здорово!... Я так люблю на звезды смотреть! Всегда бы смотрел!

Он снова стал смотреть на звездное небо.

А я невольно с благодарностью вспомнил маму. Те далекие северные ночи моего детства, когда мы гуляли с ней по затихшим улицам села, и она с вдохновением рассказывала про огромную страну созвездий, а я с затаенным дыханием слушал ее и восторженно глядел на опрокинутую чашу блистающего ночного неба.

Неожиданно из темноты поперек Млечного Пути чиркнул зеленой — фосфорического света — полоской метеор.

— Звезда упала! — быстро проговорил мальчик и обернулся ко мне. — А расскажите еще про звезды. Пожалуйста.

— Еще... Знаешь, какое созвездие считается самым красивым?

— Какое?

— Орион. Вот оно, правее и выше Сириуса. Нашел?

— Ага! Я раньше уже замечал эти три звездочки в один ряд. Как волшебная палочка!

Это не палочка. Это — пояс Ориона. А чуть ниже кинжал...

— Подождите немного, — попросил вдруг мальчик, расстегнул портфель, вытащил из него тетрадку и карандаш. — Я сейчас запишу.

Он пристроился и замерзшей рукой коряво и крупно вывел: «Арион».

— Эх ты, грамотей! «О» — первая буква.

Мальчик добродушно улыбнулся и поспешно намалевал поверх буквы «А» жирную «О». Потом записал все остальные названия и положил все обратно в портфель.

— Спасибо большое! Я теперь много звезд знаю.

В это время на остановке зашевелились. Сверкнул фарами приближающийся наконец-то автобус. Люди неторопливо столпились у входа. Из открывшихся дверей дохнуло теплым воздухом салона.

Поехали. Мальчик сел чуть впереди меня у окна и дышал на заиндевевое стекло.

А я задумался. Как все-таки мы меняемся с возрастом. Мы редко смотрим в небо, на звезды. Глядим либо вниз, либо вперед, по горизонтали. Да и мыслим зачастую «горизонтально». Ходим, словно придавлены небом. Почему? Боимся?... Странно, куда уходит все то, что было в детстве?

Вот этот мальчик: он не боится неба, он любит звезды, и не равнодушен к ним. Мне было даже неловко, когда он искренне поблагодарил меня за то, что я рассказал ему о ночном небе. Милый мальчик, это я должен быть благодарен. Ты помог вспомнить мне детство, когда я не был равнодушным к небу, когда мысли и мечты мои простирались не только вперед, но ввысь, к далеким мерцающим светилам.

Спасибо тебе! Спасибо за звезды!

Вспомнив о мальчике, я поглядел в его сторону.

Но его уже не было.



## ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!

Мужи. Первая половина июля. Благословенная пора белых ночей. Долгожданный подарок природы всей мохнатой и крылатой живности леса. Необъятен день! Вот уж, казалось бы, и вечер поздний, ложись да отдыхай после дневных забот, а еще и солнце не село. Щекотит, дразнит усталые глаза, желанный сон напрочь гонит. Что ты будешь делать!

Лишь ближе к полночи, когда солнце зависает над самым горизонтом, понемногу замирает село, только влюбленные парочки да беззаботные стайки молодежи неспешно бродят по притихшим улицам, затягивают песни.

Влажная белая простыня ночи не спеша размывает отчаянную синь северного неба, забеливает даль окоема. А в вышине — ни звездочки!

Морошковым краем, страной белых ночей называют в это время года мужевскую землю.

На этих кривых улочках, отвоевавших когда-то у тайги свое место под солнцем, на высоком берегу Оби, прошло детство Толи Шебалина. Позади школа. Но каждый год приезжает он в Мужи на каникулы после сдачи экзаменов в университете. Тянет Родина. Так и в этот раз.

Шесть дней прошло, как сошел Толя с «Метеора» на железный, гулко разносящий шаги дебаркадер. Хлебнул полной грудью родного воздуха и замер: так светло, радостно на сердце стало, что хоть кричи от переполняющего, невесть откуда взявшегося ощущения счастья. Но вместо этого губы лишь едва слышно прошептали:

— Дома!

Одним длинным-длинным днем прошла почти целая неделя как он у матери. Все смешалось: разговоры, встречи, новости, и не вспомнишь, в какой день что было.

Еще по приезду Толя пообещал своему одиннадцатилетнему брату Юре, что они обязательно пойдут на днях встречать

восход солнца. У брата глаза загорелись. Каждый день, как вечер приблизится, спрашивает:

— Ну что, сегодня пойдём?

У Толи уже внутри неприятно покалывает: обещал ведь. А как пойдешь? Тут крестные в гости пришли, там еще что-нибудь непредвиденное.

Но вот, наконец, выдался свободный вечер. Настало время сборов. Толя укладывает палатку, Юра собирает сумку с провизией. Мама с сестрой Ниной тут же в коридоре стоят, наблюдают. Невдомек им, что это парням дома не сидится.

— И охота вам комаров кормить, — по-доброму усмехается мама.

— А мы с собой мазь взяли, — откликается Юра. — Во! Целый тюбик.

Нина, средняя из детей по возрасту, не преминула после мамы вставить:

— Лучше бы в своей комнате прибрались, чем шастать непонятно где. Юра ехидно парирует:

— Ты дома остаешься? Вот и приберись.

Сестра хмыкает и демонстративно уходит в свою комнату.

— Ой, обиделась будто! — смеется вдогонку младший. — На часы посмотри. Десять уже, какая приборка! на ночь-то глядя.

Толя смотрит на маму, как она отреагирует, и, успокаивая, говорит:

— Послезавтра все равно суббота. Тогда полностью и приберемся.

— Все! Готово, — пыхтя, докладывает Юра и натягивает на ноги разношенные кроссовки.

Братья выходят во двор. Негромко разговаривая, идут на северную окраину Мужей. Вышли специально попозже, чтобы людей на улицах меньше было. Село-то наполовину зырянское. А зыряне — народ любопытный, все интересно им: и кто куда пошел, и о чем соседи повздорили, и чья собака у их калитки



уснула. Каждого хоть завтра в разведчики записывай!

Людей, и правда, было не много. То ли день душный был, то ли телефильм интересный показывают. Вышли Шебалины на окраину. Впереди на длинном шесте полосатый «чулок» аэропорта неподвижно висит. Тихо. Сейчас вдоль взлетно-посадочной полосы до небольшого пляжа на берегу Югана, а там чуть влево и палатку ставить.

Огненный шар солнца медленно заваливается к северу. В щедрой россыпи предзакатных лучей скрадываются очертания лесистого косогора, едва различима в золотистой дымке соседняя крохотная, в пятнадцать домов, деревенька Ханты-Мужи. Воздух за день прогрелся, дышит теплом и травными запахами, даже комаров еще нет, прячутся в сырых низинах.

Пока братья устанавливают палатку, разводят небольшой костерок и готовят в котелке немудрящую похлебку из пакетного супа с тушенкой — уже полночь. Солнце зависло над дальним тальниковым островом и упрямо не хочет садиться. Струит рассеянный свет на раздольный пойменный луг, оттеняет румянцем жидкое серебро проток и реки.

— Искупнемся, пока комаров нет, — предлагает Толя.

— Давай, — охотно соглашается младший.

Шебалины наперегонки сбрасывают всю одежду и бегут к Югану. Статное, мужающее тело Толи первым взбуравливает, взрывает брызгами спокойную гладь речки. Более осторожно, взохивая от неожиданной прохлады воды, заходит на глубину Юра. Братья неторопливо плывут на недалекий противоположный берег. Хоть и не глубокий Юган, но даже в жаркие дни вода прогревается лишь на метр, поэтому оба они держатся на поверхности, их голые тела почти не скрываются под водой.

— Уф—ф, хорошо! — отдувается Толя, выбираясь на пологий илистый берег.

— Ничего себе — хорошо! Дубак такой! В воде и то теплее.

— Не беда, скоро обсохнем. Смотри-ка, кони.

К Югану неторопливо брело небольшое стадо.

—Наверно, на водопой, — предположил Юра.

—Может быть. А может, на тот берег переплывут.

Мимо братьев равнодушно, полностью в своих думах прошли первые четверо лошадей. Остановились у кромки Югана, оглянулись, вразнобой фыркнули и вошли в воду. Поплыли. Вслед за ними с таким же несложным обрядом последовали остальные. Издалека их рыжая лоснящаяся от воды шерсть казалась медно-огненной, словно само солнце спряталось в шкуре на покатых боках коней.

—Я испугался: думал, перевернут наш котелок, — признался младший.

—Да нет. Что они, глупые, на костер идти — рассудил другой брат. — Поплыли обратно. Там уже, наверно, все сварилось.

— Ага. А то все равно что-то холодно. И комары появились.

Братья отошли берегом вверх по течению, чтобы не плыть в темной, взбаламученной животными воде и погрузились в прохладные струи реки.

—Ты чего отстал? — окликнул Толя брата, отряхавшись от капель.

Юра неловко выбирается на берег и неуклюже ковыляет к костру. Тяжело дышит.

—Ногу поранил? — тревожится старший.

— Нет, свело. Едва доплыл. Хорошо, что у берега почти, — Юра старается говорить со спокойной уверенностью, но глаза выдают недавний испуг.

—Иди, давай, в палатку, оботрись и одевайся быстрее, — велит Толя и хмурится. —А то не утонул, так простудишься.

—Маме только не говори! — отзывается из палатки Юра.

—Ладно, сами грамотные.

Толя одевается сам, потом зачерпывает ложкой из котелка, дует и, обжигаясь, пробует:

—А ничего супец! Наваристый!

—Ты мне-то хоть оставь! —шутливо возмущается младший.

—Сколько ложек? — отзывается Толя, и братья смеются.

—Юр, слышишь?

—Что?

—Мазь прихвати. Одолели кровососы! Аж на ложку с супом липнут.

—Ага. Брат выбирается из палатки с тубиком в руке.

—Ой, а солнце-то село. Прозевали.

—То-очно,—с сожалением тянет старший.

На севере почти в полнеба нежно алеет заря. Там, где село солнце, далеким костром пышет горизонт. Такое ощущение, словно огненный шар совсем рядом, просто укрылся за тальниковым островом и, если подняться на холм, то непременно увидишь его приплюснутый, набирающий силы для нового дня круг.

Насытившись, братья спешат под брезент палатки от полчищ комаров.

—Сколько сейчас?

—Час ночи, —отвечает Толя, взглянув на часы.

—Здорово, да?

—Что?

—Солнце встает в один день, а заходит уже на следующий.

—Да-а. Будто и не заходит вовсе.

—В Салехарде, наверно, так и есть. Там же Полярный круг?

—Ага. На Ямале вообще здорово. Кругом только тундра, небо и солнце! Там сейчас и белых ночей нет. Все день и день.

—Классно! Не верится даже.

Незаметно проходит час. Золотистое зарево неторопливо передвигается с одного конца острова на другой.

— Гляди, —замечает Юра, —луна.

Толя шарит глазами по светлому небу.

И правда, над Обью, одинокая, словно никому не нужная, блекло розовеет выщербленная с правого бока луна. Попранная владычица неба полярных ночей. С каждой минутой все ярче раскаляется кромка земли и неба.

—Как будто все Шурышкары горят, — восклицает Юра с восхищением.

—С Салехардом вместе, — заворуженно добавляет Толя. Братья выбираютя из палатки.

—Сейчас взойдет, — с ожиданием в голосе произносит старший и неотрывно глядит на зарю.

—Ух ты! — выдыхает, обернувшись, Юра. —А в Мужах-то уже зошло!

Толя оборачивается и кивает:

—Точно! На холме потому что.

В первых лучах розовеют притихшие дома. В окнах играет рассвет. Бело-сине-красный флаг на здании администрации кажется розово-лазурно-алым.

С минуты Шебалины любуются родным селом и снова устремляются взглядом на север. Почти в то же мгновение теплый луч ударяет в глаза и заставляет прищуриться. Поначалу крохотный, уголек светила все больше раскаляется, растет, превращается в полусферу и наконец оранжево-красным шаром отрывается от горизонта, заливаает светом всю низину реки.

—Здравствуй, солнце! — радостно и шутливо выкрикивает Юра и машет рукой.

Толя весело смотрит на брата, тоже вскидывает руку:

—Привет!

Потом дурашливо прибавляет:

—А мы тут тебя всю ночь ждали! Целый час и двадцать минут!

Братья раздувают огонь и кипятят воду для чая. Костер отгоняет комаров, и они мельтешащей кучкой отлетают в сторону. От горчащего запаха дыма оживают вдруг темные валуны дремлющих коней, они лениво поднимают головы и нюхают воздух.

На природе время течет незаметно и быстро. Уже раннее утро. Солнце все выше поднимается в небо и начинает припекать. По Оби пляшет целая россыпь золотых зайчиков.

Пора обратно в село. Шебалины заливают тлеющие угли костра, собирают палатку и отправляются домой.

Поднимаясь на первый пригорок Мужей, Толя и Юра еще раз обернулись назад. Зеленый луг затянулся желтыми облаками. Это один за другим раскрылись пушистые солнышки одуванчиков. Над еще спящими улицами, над речной низиной разнеслось беззаботное ржание коней. И, словно приветствие, отозвался ему вдруг со стороны Киевата долгий раскатистый гудок теплохода.

## РЕКА КУДЁМА

Сразу за селом текла река с завораживающим и непонятным именем: Кудёма. Вроде бы река как река. Из третьестепенных. Даже катера по ней редко ходили. Но все же была в Кудёме какая-то необъяснимость, какая-то неуловимая тайна в неторопливом течении темных вод, в плавных очертаниях излучин, в лесистой оправе берегов.

Неподалеку от села пойма опускалась полого к реке, почти равнялась с ней и дернистой ступенькой обрывалась в илистую отмель Кудёмы. Удобное место для рыбалки.

Частенько приходил сюда с ведерком и двумя удочками на плече Василий, закоренелый нелюдим сорока двух лет. Большой молчун, с исчезающей грустинкой в глазах, он сторонился сельчан, жил на окраине, в маленьком домишке около кладбища. И работу тоже выбрал по себе: был ночным сторожем на складе. С виду самый обыкновенный мужичок. Мускулист, коренаст, с густыми темными усами и с добрым прищуром глаз, несмотря на суровость характера.

Люди старались избегать общения с ним, чтобы не тревожить его душевную печаль. Но если уж приходилось, то говорили с осторожностью, по возможности приветливо и бодро, а за глаза жалели Василия, сочувствовали одинокой, почти отшельничьей жизни этого человека.

А виновата во всем была река Кудёма.

Двадцать лет назад Василий был совсем другим. Красивый сероглазый парень с открытой душой и добрым сердцем. Предмет воздыхания многих сельских девчат. Они страшно завидовали Валюше Кармаковой, которую без ума любил Василий.

Конечно, их любви можно было только позавидовать. Валюша боготворила его, а он трогательно заботился о ней. Их почти всегда видели вместе: в лесу ли, в клубе или просто гуляющих по улицам села. А спустя год этой трепетной любви-дружбы, на исходе осени, родители справили им веселую шумную свадьбу. Появилась новая семья Никитиных.

Ничто не предвещало беду. Горе пришло внезапно.

Прошла, отметелила зима, промелькнула в заботах посевная, наступило лето. Жаркий июнь половину села выгнал на Кудёму. В один из знойных дней пришли купаться в уединенное место и Валюша с Васей. Разделись, взялись за руки и вприпрыжку побежали в воду, взрывая ровную гладь фонтаном сверкающих брызг. Поплыли, хохоча от восторга. Вдоволь нарезвились и возбужденные, блестящие от влаги вышли на берег, устало повалились в цветущую полынь.

Когда Валя отдышалась, то перевернулась на спину и загляделась в небо.

—Какое солнце жаркое! Я уже почти обсохла.

—Накрой голову, Валь. А то и сама не заметишь, как напечет.

Она укрылась платком и погладила Василия по плечу. Помолчала. Потом тихо позвала:

—Вась...

—М-м?

—Вася.

—Что, кузнечик? — сказал он, поворачивая голову к Вале.

Валя пристально смотрела ему в глаза, приподняв платок, и ласково улыбалась.

—Вася... У нас... будет малыш.

Василий на мгновение замер, моргнул глазами, затем рас-

плылся в улыбке, бережно привлек Валю к себе, обнял и заглянул в самые глаза. Его устремленный взгляд словно спрашивал: «Правда?!»

— Да, ты скоро будешь папой, — по-доброму и задумчиво сказала она.

— Валюш! Это точно?

— Я знаю. Ему уже месяц.

— Но почему ты не сказала мне раньше?

— Я не была уверена. Теперь знаю. Где-то в феврале он появится на свет.

Василий блаженно зажмурился и жарко зашептал ей в самое ухо:

— Валек, милый мой, теперь я самый счастливый человек на свете!

Он хотел крепче заключить жену в объятия, но она шутливо увернулась, вскочила и, смеясь, побежала к реке.

— Стой! Без меня, да? — прокричал Василий и кинулся вдогонку.

А Валюша уже плыла, плавными рывками удаляясь на середину реки.

— Валя, подожди!

— Догоня-а-ай!

Что-то тревожное толкнулось в мозг Василию. Он набрал полную грудь воздуха и, вспарывая сильными руками поверхность Кудёмы, быстро поплыл. Когда он одолел метров двадцать, то приподнял голову из воды, чтобы вдохнуть воздуха и оглядеться.

Валюши не было.

— Валя! — сдавленным от испуга голосом окликнул Василий.

Ответа не последовало. Невозмутимо текла Кудёма, мелкая рябь без плеска набегала на берег.

— Ва-аля-а-а-а! — с надрывом закричал он снова и рванулся вперед.

Долго, до полного изнеможения кричал, нырял в поисках

Валеньки, рыдал, захлебываясь мутной водой Кудёмы, Василий. Вали не было.

И только когда совсем отчаялся, вконец обессиленный, с черной опустошенностью на душе, выполз он на берег и долго безудержно плакал не в состоянии поверить в случившееся горе.

Валюшу нашли на следующий день. Поигралась и выплюнула свою ни в чем не повинную жертву Кудёма. Ее, с застывшим испугом и болью на лице, обнаружили около соседней деревни, прибитую течением к берегу.

Когда хоронили Валюшу, почти все село стеклось на кладбище к свежерытой могиле под двумя березками. Никитин стоял у гроба и молча, потухшим взором смотрел на Валеньку. Слез уже не было. С трудом он реагировал на сочувствие окружающих, отвечал односложно и с неохотой.

Так, в одночасье, он потерял двух близких людей: Валю и... малыша, о котором едва лишь успел узнать, и о котором еще никто не ведал кроме него и Валюши.

С тех пор Василий и стал мрачным нелюдимом.

Говорили, что он долго не мог успокоиться, смириться с тяжким потрясением, которое так внезапно обрушилось на него. Поначалу некоторые даже считали, что Никитин лишился рассудка. Может быть, так оно и было первое время. Многие видели, как он часами стоял остолбенелый у небольшой могилки, либо глухо плакал, распластавшись на холмике. То вдруг стремительно проходил через село, бежал к Кудёме и остервенело швырял камни в равнодушно текущую, ненавистную реку, отобравшую у него счастье.

Такие вспышки бессильного гнева продолжались еще несколько дней, но постепенно ярость его истощилась вместе с остатками душевных сил, и он утих, ушел в себя. Сельчане поначалу пытались его утешить, вернуть к былой жизни, но все было напрасно. Попереживали-попереживали да и отступились: «Живи с богом! Если что — поможем».

Василий постарел за месяц лет на десять, стал много курить,



хотя до этого не курил вообще. Но вот пить не стал, несмотря на то, что некоторые заботливые мужички не раз предлагали промыть печаль с души «родименькой». Закрылся в своей скорлупе молчания и никого туда близко не пускал. Так и жил «ночным филином», днем почти не показывался на селе. Лишь по утрам, когда еще все спали, приходил Никитин на Кудёму и удил рыбу, безмолвно всматривался в непроглядную глубину реки.

Так же было и сегодня.

Василий пришел на берег, закурил, установил удочки и бесшумно сидел уже часа два. Возле него блестели скользкой чешуей и, вылупив водянистые глаза, бились хвостиками о траву три пузатых карасика. Никитин поглядел на них и скупой улыбнулся: «Не велик улов. Что-то плохо сегодня. Ладно, на уху хватит. Пора уж обратно». Он собрал снасть, плюхнул карасиков в ведро и, шаркая сапогами по траве, побрел обратно.

На околице его ждали. Это была Мария Савина. Приятная светловолосая женщина тридцати восьми лет. Мягкая характером, хозяйственная. Она была дояркой на здешней ферме. Растила двух детей. Старший — Мишка, нынешней весной ушел в армию, а младшей Леночке было двенадцать лет. Мария была вдовой. Четыре года назад осталась она без мужа. Он тоже утонул. Тоже в Кудёме.

Странной была его смерть. Так же как и непонятная гибель Валюши Никитиной. По весне муж Марии отправился с приятелем поставить сети на Кудёме. Выплыли. Все было нормально, как рассказывал его напарник. Вдруг ни с того ни с сего он встал в лодке, пристально, как зачарованный, загляделся в черноту воды и как в чем был, так и бултыхнулся за борт. Даже тело не нашли.

Погоревала Мария, погоревала, но что делать: надо жить, детей поднимать на ноги. Вот и жила одна, никого к себе из «похотливого брата» не подпускала, гнала. На селе ведь все хорошие мужики при женах, а пьяни да швали Мария не желала, гордая была. Правда, был один, ни на кого не похожий. Василий.

Да разве к нему подступишься. Но симпатия у Марии к этому молчуну была, как и чувство родства в печальной похожести судеб. Еще восемнадцатилетней девушкой Машей украдкой, с замиранием сердца смотрела она на Василия. Еще была жива Валюша. Еще не было свадьбы и молодой семьи Никитиных. Но жизнь распорядилась по-своему.

Теперь же, столько лет спустя, в Марии снова ожила пока что слабая надежда.

Никитин размеренно шел, глядел перед собой и не видел женщину, которая ждала его. Вздрогнул, когда неожиданно услышал свое имя.

—Вася...

Его давно никто так не называл. Он остановился, поглядел на женщину, узнал Савину и настороженно спросил:

—Что... Маша?

—Мне твоя помощь нужна. Пробка в счетчике вылетела. Надо новую вставить, а я сама боюсь... Помогите.

Василий снова пытливо посмотрел на нее, взглянул на дом и медленно, молчком, зашагал к калитке. Вошел в уютно пахнущие сени, разулся и отворил дверь в дом.

Заменить пробку в счетчике — дело нехитрое и быстрое. Но каким-то необыкновенным образом Мария успела за это время накрыть в комнате небольшой стол и поставить на него медный самоварчик. Когда Никитин вышел из кухни в прихожую и направился к двери, Мария шагнула ему навстречу и тихо попросила:

—Вася, позавтракай у меня... Блины вот вечером пекла.

Он снова изучающе смотрел на нее. Потом нахмурился.

—К чему это, Маша?

Мария закусилась нижней губой и, глядя ему куда-то в грудь, еще тише, с неуловимой мольбой произнесла:

—Ну, пожалуйста, Вася... Василий отвел глаза в сторону, вздохнул, пожал плечами.

—Если ты так хочешь... Ладно.

Он сел за приземистый стол, Мария разлила чай.

Непонятно, каким образом ей удалось разговорить Василия. Они пили чай и вели беседу на самые незначащие темы. Впрочем, поначалу говорила одна Мария. Как говорится, за двоих.

Василий слушал ее голос, кивал головой, изредка, как слезы, ронял слова. Но постепенно и его язык оттаял, он заговорил, понял искренность этой женщины. Когда же Никитин поднялся из-за стола и собрался уходить, Мария вышла за ним на крыльцо, робко взяла за руку и проговорила:

—Вася, ты... приходи... бывай у меня. Ладно?

Василий неопределенно мотнул головой, но с того дня, действительно, стал заходить к Марии, когда возвращался с рыбалки. Приносил рыбу, при этом задумчиво и немного тоскливо говорил:

—Вот, Маша, подарок тебе. От Кудёмы.

Так продолжалось довольно долго, пока Мария не сказала однажды твердо, но добродушно:

—Вася, послушай, переходи ко мне жить. Хватит нам поодиночке-то мыкаться! Ты себя уж сколько изводишь. И мне одной — ох, как трудно. Вместе-то куда легче будет. Да и... нравишься ты мне, Вася...сильно... Пойми ты это.

Василий ничего не ответил, задумчивый ушел, оставил ее в тревожном ожидании.

А на следующее утро, раным-рано, Мария проснулась оттого, что в дверь тихо постучали. Наскоро накинула халат, в смутной надежде и предчувствии вышла в темные сени. Сердце колотилось. Мария отодвинула скрипучий засов, распахнула дверь и застыла. Перед ней, в рассветной тиши, с фибровым чемоданом в руке, стоял, переминался с ноги на ногу и виновато улыбался Василий.

Где-то в другом конце села пропели утренние петухи, сонно забрехала собака. Белесый туман поднимался с дальних лугов, а над Кудёмой медленно всходило большое оранжевое солнце.

## ЧАРУШИНСКАЯ СКАМЕЙКА

Я тогда был еще маленьким, лет шести, когда в один из погожих июньских дней по другую сторону нашей окраинной улицы дедушка Карпа смастерил немудрящую скамейку. Врыл в податливую землю длинные ровные чурбачки, а поверх них положил и намертво укрепил деревянными клиньями широкую, толстую, до мягкого блеска обструганную доску, вроде тех, какие используют в деревенских домах на половицы.

Это было прекрасное место. Между двумя раскидистыми липами, почти на самом краю зеленеющего пригорка. Отсюда открывался чудесный вид на спокойную излучину речки Чаруши и на просторный пойменный луг, обрамленный вдалеке старым березником. Под липами в это время года всегда настаивался особенный тяжелый медоносный дух.

Когда скамейки еще не было, здесь все равно часто собирались сельчане. Иногда мужички сидели под сенью листвы, коротая время, пока в поставленный невод не попадет побольше карасей, ближе к вечеру под липами останавливались посудачить женщины, возвращаясь с Чаруши, где на подмостках по старинке полоскали белье, а уж совсем на закате именно сюда слетались шумливые стайки девушек, чтобы вволю пощебетать о своих сердечных делах. Нравилось людям это место. А теперь еще и скамейку дедушка Карпа поставил.

Поздно вечером я тайком улизнул из дома, чтобы получше рассмотреть ее. Прибежав к липам, медленно приблизился к скамейке и осторожно сел на самый краешек, чтобы она была мне видна полностью. Не остывшее еще после жаркого дня дерево приятно согревало ладонь. Я тихонько погладил поверхность доски. Гладкая!

Послышались приближающиеся негромкие голоса. Боясь, что меня прогонят домой, я спрыгнул со скамейки и спустился с пригорка в высокие заросли чернобыльника. К скамейке подошли две немолодые женщины.

—Ай да Карпа! Ишь, какую ладную сварганил. Широкая, посидеть любо-дорого.

—Да уж, восьмой десяток разменял, а все шустрит. Игрушечник!

Женщины почти неслышно сели.

—Додумался ведь. Молодец!

—Да-а... Клавдию вот только жалко.

—Чевой-то вдруг?

—Так ведь наверняка уж, поди, замаял ее своими выкрутасами. То голубятню под старость лет решил строить да голубей разводить, то давеча змея с крыши запускать собрался. Ребенок, да и только.

—Ну что ты, Марфа. Пусть человек тешится-радуется. Вреда от того никому нет, да и Клава, не слышала я, чтобы каялась. Чудной он — это верно. А все одно — молодец! Наш он! Чарушинский!

—Ладно, пойдем что ли. Позднехонько уже.

—И то верно. Поглядели-посидели...

И тут я услышал встревоженный голос мамы.

—Евдокия Петровна, Колю моего не видели?

—Нет, милая. Да мы тут с Марфой недолго были. Вон, дед Карпа скамеечку сделал, поглядеть приходили.

—Из дома выскочил, ни слова не сказал. Уже с полчаса... — сокрушалась мама. — Думала во дворе он, а вышла — никого. Ладно, побегу искать.

Мне стало стыдно. Я вскочил с корточек, пробежал под пригорком в ту сторону, куда пошла мама, и вскарабкался по склону на дорогу.

—Мамочка, прости, я больше не буду! — кинулся я навстречу, опережая ее, возможно, сердитые слова.

—Ты где же околачивался столько времени?! — полусердито, полууспокоившись, спросила она.

—На скамейку ходил смотреть.

—Не ври. Я там только что была.

— Правда, был. Там еще две женщины пришли, и я в траве спрятался. Потом твой голос услышал и прибежал, — оправдывался я.

— Ладно, разведчик, пошли домой, — подобрела она. — Больше так не делай, хорошо?

С минуту мы шли молча. Потом вдруг вспомнил:

— Мама, а те женщины про дедушку Карпу говорили.

— Да? И что они говорили? — поинтересовалась она.

— Разное. Еще одна из них его обзывала.

Мама недоверчиво посмотрела на меня:

— Как?

— Игрушечником каким-то.

— А-а, — улыбнулась она. — Ну это так и есть.

— Почему? — удивился я.

— Он раньше, когда помоложе был, игрушки разные для детей делал. Из глины, из дерева...

— Ой, а какие?

— Ну я же говорю: всякие-разные. Мне, например, когда я маленькой была, как ты, куклу из мочала сделал. У нас ведь после войны таких, как сейчас, игрушек не было, — ответила мама, когда мы уже заходили в дом.

В тот вечер я долго не мог уснуть. Все думал о дедушке Карпе, представлял в мыслях, какие он делал игрушки. Неожиданно загорелось неумемное желание, чтобы дедушка Карпа и мне сделал какую-нибудь игрушку. С этой сокровенной мыслью и уснул.

На следующее утро, наскоро выпив стакан молока, выбежал на улицу. Ноги сами повлекли к дому игрушечника. Он жил всего через четыре двора от нас.

По-детски трусливо повернул тяжелое кольцо дверной щеколды, пробежал по узкому тротуарчику к крыльцу и постучал в окошко веранды.

Скрипнула внутренняя дверь, и через стекло я увидел самого хозяина, седого и бородатого. Бренькнул не откинутый с ночи

крючок, и дверь отворилась.

—О-о-о, здорово, внучек! Ко мне, что ль?

—Ага! — только и сумел выдохнуть я, совсем растерявшись.

—Проходи, проходи. Давненько молодежь не была, — гостеприимно пригласил он.

—Клава, глянь, какие у нас гости! — воскликнул дедушка Карпа, когда мы вошли внутрь.

Из-за кухонной перегородки выглянула щупленькая старушка, баба Клава.

—А-а, знаю, Веры Сомовой отпрыск. Тебя ведь Николкой звать? — обратилась она ко мне.

—Ага.

—Ну, рассказывай, с чем пожаловал, Николай? — с напускной важностью спросил дедушка Карпа, садясь на массивный табурет.

Я вконец смутился и промямлил:

—Игрушку хочу. ..Деревянную.

—Игрушку? — усмехнулся старик в седую бороду, замечая мою растущую робость. Я лишь коротко кивнул головой.

—А откуда ж ты, внучек, знаешь, что я игрушки умею делать, а?

—От тети Марфы.

—Это от какой же?

—Да от Веригиной, поди. Одна она у нас, — вставила баба Клава.

—Вон как, — то ли заинтересовался, то ли задумался дедушка Карпа.

—И от мамы еще, — вспомнил я. — Вы ей куклу из мочала делали.

—Ишь ты! Помнит, значит, — обрадовался дед. — Ну, коли матери делал, то, видать, и тебе сделать придется, — с теплотой в голосе рассудил он.

—Пожалуйста, — на всякий случай пролепетал я.

—Хе! — усмехнулся дедушка Карпа в густые обвислые усы.

— А ты помогать мне будешь?

— Буду!

— Ну, пошли, — бодро возвестил игрушечник и поднялся с табурета.

Мы вышли из дома, прошли через двор и открыли дверь дровяника.

Тут была целая мастерская! Видимо, дрова здесь уже давно не хранили. На длинных вместительных полках располагалось великое множество самых разных инструментов и приспособлений, большинства названий которых я совершенно не знал. На полу вдоль стен стояло несколько плотницких ящиков. Пока я все это с любопытством осматривал, дедушка Карпа по-хозяйски прошел в дальний угол и вскоре вышел оттуда с дощечкой в руках.

— Сделаю-ка я тебе самолетик-флюгер... Хочешь?

— А что это такое?

— Объясню, когда будет готов. Это, брат, очень полезная вещь получится. Вот увидишь.

Он сел на огромный деревянный чурбан, взял в руки нож. Внимательно, с прищуром поглядел на дощечку и принялся «колдовать» над ней. На пол посыпались золотистые стружки. Я заворожено следил за работой дедушки Карпы. Постепенно дощечка обретала очертания самолетика.

— Похоже? — оторвался от дела игрушечник.

— Да! — выдохнул я.

— Вот что: принеси-ка мне вон из того ящика шкурку, — попросил он.

— Чью?

— Хе! Не чью, а какую. Увидишь. У нее с одной стороны бумага гладкая, а с другой как бы песок ровным слоем приклеен.

Несмотря на незнание, я довольно быстро нашел наждачную бумагу (ее название узнал уже позднее).

— Эта?



—Она самая. Молодец!

Дедушка Карпа стал тщательно обшаркивать почти готовую игрушку. Затем из отдельного брусочка старательно вырезал похожий на бантик пропеллер, в центре его проделал шилом дырочку и полегоньку прибил к носу самолетика. Правда, с небольшим зазором, чтобы тот мог свободно вертеться. Потом взял в руки дрель и наострился сверлить отверстие прямо в середине самолетика.

—А это зачем? — встревожился я за игрушку.

—Не бойся, — успокоил меня дедушка. — Так задумано.

Я удивленно смотрел, как сверло с жужжанием ровно продавливалось в дерево.

—Ну, вот и все! — сказал дедушка Карпа, распрямляя спину. — Держи. Нравится?

—Ага! — я держал в руках сотворенное на моих глазах чудо и не мог оторвать от него восхищенного взгляда.

—А теперь слушай, — наставительно продолжил дедушка Карпа. — Когда тебе надоест им играть, то попроси папу, пусть он прибьет самолетик на жердь. Гвоздочком как раз в эту дырочку. А жердь укрепит над сеновалом. Тогда самолетик флюгером станет — ветер показывать будет.

—Как это? — удивился я.

—А вот запоминай. Самолетик этот необыкновенный, он всегда станет лететь в ту сторону, откуда ветер дует. Например, если он летит туда, где солнце всходит, значит, ветер восточный. Туда, где оно садится — западный. Если в сторону города — южный, а коли к нашему кладбищу развернулся, то — северный. Запомнил?

—Да.

—Ну, ступай, да гляди, не забывай старика, заглядывай.

Не помня себя от радости, я вприпрыжку побежал к своему дому, держа в руках драгоценный подарок.

А месяц спустя самолетик красовался на высоком шесте над нашим сеновалом и бодро гремел пропеллером, летя навстречу восходящему солнцу.

...С той поры, как на берегу Чаруши появилась скамейка, прошло более двух лет. Я уже ходил во второй класс.

В один из октябрьских дней дедушке Карпе привезли машину выписанных в сельсовете на зиму дров. На следующее утро старик в приподнятом настроении вышел во двор колоть сваленные кучей березовые чурки. У бабы Клавы в это время подошла квашня, и она наострилась стряпать пироги с брусникой, столь любимые дедом.

Баба Клава уже вынула из печи первый противень с подрумянившимися и дышащими сдобным жаром пирожками, а со двора все еще приглушенно доносились короткие размеренные удары колуна.

—Ишь, разухарился!— озабоченно сказала она и качнула головой. Поставила в печь новый противень, вытерла о фартук испачканные в муке руки и пошла на улицу.

—Ты бы передохнул, что ль, дровосек, — окликнула она мужа, выйдя на крыльцо.

—Ничего, Клава! — обернулся на ее слова раскрасневшийся, с сияющими глазами дедушка Карпа. —Работка в охотку! Помахая еще малость, — сказал он, отпыхиваясь.

—Ну-ну, смотри. А то пироги спели. Горяченькие! — решила она сманить мужа домой. Но он уже вновь взмахнул колуном. Баба Клава безнадежно махнула рукой и поспешила к печи.

Уже вытаскивая второй противень, она вдруг поймала себя на мысли, что не слышит звука раскальваемых дров.

—Слава те господи, угомонился! — успокоенно выдохнула она. —Надо предупредить, чтобы хоть поленицу сегодня не складывал. А то ума хватит.

С этой мыслью баба Клава вышла из дома и окаменела от увиденного. На земле, среди беспорядочной россыпи щепок и поленьев, ничком, неестественно скрючившись, лежал дедушка Карпа. Колун был крепко сжат в его руках.

—Карпуша?! — испуганно взвыла она, подбежала к нему и упала на колени.

Дедушка Карпа был мертв.

Потом от врачей баба Клава узнала, что с ним случился обширный инфаркт.

Я хорошо помню тот день, когда хоронили дедушку Карпу. По очереди, группами, заходили сельчане попрощаться с забавным при жизни, никому не делавшем зла стариком. Кто-то, негромко переговариваясь, стоял на дворе, возле наколотой кучи дров, кто-то в ожидании выноса гроба прохаживался по улице около дома, разглядывая узорчатые наличники, вырезанные когда-то дедушкой Карпой.

А мы с мамой и несколькими женщинами сидели на скамейке под облетевшими чернотвольными липами.

— Вот и не стало нашего игрушечника... — задумчиво и грустно проговорила тетя Марфа.

В это время из ворот дома вынесли аккуратный, сделанный из листового железа, выкрашенный в светло-зеленый цвет памятник. На нем я прочитал: «Чарушин Карп Емельянович». Чуть ниже чернели даты жизни: 1902—1978 гг. Так я впервые узнал полное имя дедушки Карпы.

— Мама, а у дедушки Карпы почти такая же фамилия, как название нашей деревни и речки... — искренне удивился я, потянув ее за рукав.

Она молча кивнула, а тетя Марфа, услышав мои слова, повернулась и негромко заговорила:

— Да, Николушка, он ведь коренной был. Чарушинский. На кладбище и дед, и прадед его лежат. Отца, правда, нет. Тот в первую мировую бесследно сгинул.

— Помнится, — вступила в разговор незнакомая мне женщина, — дедушка Карпа всегда на приезжих обижался, когда они нашу деревню называли — Чарушино. Все объяснял: вот, мол, если бы село было, тогда — Чарушино. А у нас — деревня, потому на конце «а» пишется. Чарушина!

— Хороший был человек. Заботливый, — вступила в разговор незаметно подошедшая Евдокия Петровна.

—Скамеечку вот нам на память о себе оставил.

—Да-а. И липы, — вздохнула тетя Марфа.

—Как? И липы его?

—А то. Он их весной сорок первого, перед самой войной посадил. Я тогда еще девчушкой бегала. Все помочь хотела.

Разговор на этом прервался, вынесли гроб.

Дорога к кладбищу пролежала мимо нашего дома. Дул , встречный ветер, И я невольно обратил внимание на знакомое тарахтение. Я оглянулся и посмотрел на свой самолетик-флюгер. Он мелко вздрагивал на ветру и порывался устремиться вслед за нами, чтобы тоже попрощаться с тем, кто его когда-то смастерил...

Прошли годы. Из Николки Сомова я давно уже стал Николаем Семеновичем, сотрудником областной газеты. Обзавелся женой, сынишкой.

Но пришел день, когда я вспомнил вдруг деревню Чарушину и долго не мог побороть в себе какое-то неизъяснимое чувство тоски и тревоги по далекому детству.

...Июньским полуднем я вышел из рейсового автобуса на памятной мне окраине и пошел по знакомой улице в сторону нашего прежнего дома. Справа под пригорком зеркально отражала прибрежные камыши неторопливая Чаруша. Теперь она казалась мне совсем маленькой.

Я не узнавал окрестности. Вместо удерживаемых памятью образов деревянных домов, которые я жаждал увидеть, взор мой то и дело натыкался на стандартные двухэтажные коттеджи с одинаково ровно подстриженными газонами в оградах.

Но вдруг я остановился. Брошенный мельком взгляд застрял в густо переплетенных ветвях двух состарившихся деревьев. Это были липы дедушки Карпы. Уже на бегу к ним, там я увидел и скамейку. Его. Чарушинскую.

С замирающим сердцем, как когда-то в детстве, осторожно сел на краешек ее плоской спины, теперь уже побуревшей и местами глубоко разохшейся от минувших лет. Ни наш дом, ни

дом дедушки Карпы не дожили до этой запоздалой встречи. Сейчас на тех местах и дальше до самого кладбища, неухоженного и позабытого, полновластно раскинулся коттеджный городок.

Скамейка под липами оказалась единственным островком из того, что когда-то называлось деревня Чарушина, единственным местом, которое пощадило время, единственной памятью о жившем здесь добродушном бородатом игрушечнике. На душе было и светло, и грустно.

## ДУРА КАТЬКА

Городок был небольшой. Так, большая двухэтажная деревня. Поэтому почти все в нем знали Генку Гостюхина, местного шофера одного из винных магазинов, который не раз привозил для горожан «веселую» продукцию.

Сам он был крепок телом, прост в общении, имел приятную внешность, беспечные манеры и... три слабости. Первая из которых неизменно сопутствовала его разудалой работе. Генка почти не бывал «сухим». Отчего его грузовичок редко доезжал до магазина, не раздавив по дороге какую-нибудь замешкавшуюся живность. При этом виноватым оказывался, конечно, не он, а сама нерасторопная беспризорная кошка, которую Генка спихивал носком сапога с дороги, либо причитающая хозяйка глупого цыпленка, попавшего под колесо машины. Две остальные слабости вытекали из предыдущей. Когда Генка выпивал, у него моментально развязывались кулаки, и он был не прочь их об кого-нибудь хорошенько почесать, а в-третьих — просто ужасно охоч до женских прелестей. И как-то все ему всегда сходило с рук. Везде успевал. Но народ его уважал, а может быть, просто побаивался.

В мае Генка ушел в отпуск, и с дармовым блатом дело стало

похуже. Утром девятого числа, когда в заначке все было выпито, он направился к своему давнему компаньону Василию Ступицыну с вполне понятным предложением: «Такой праздник и вдруг не отметить! Поди, сообразим на двоих».

Ступицыны жили через четыре улицы в частном доме. Мать, сам Василий и его почти пятнадцатилетняя сестра Катька.

Катька была слабоумной. Как говорится: бог ума не дал. В школе она не училась, чаще все сидела дома, вязала кружки. Это было, можно сказать, единственным, что она хорошо умела, с трудом переняв от матери. Среди горожан ее звали Дура-Катька, а она нисколько и не обижалась на это.

Когда Гостюхин дошел до дома Ступицыных, он отворил калитку, прошел через небольшой двор и поднялся на крыльцо. Постоял у двери, громко, по-мужицки высморкался, зачем-то почесался и бодро постучал. Потом еще. Внутренняя дверь хрипло охнула, и чьи-то мягкие шаги приблизились к двери, за которой стоял Генка.

— Кто там? — спросил настороженно-любопытный женский голос за дверью.

«Катька» — сообразил Генка и дурашливо приосанился.

— Эт — я!

По ту сторону даже не поинтересовались, кто именно этот «я», брякнул крючок и дверь подалась вперед. В темном проеме показалась голова Катьки и глупо уставилась на Генку синими-синими глазами.

— Ты кто?

— Я?... Хэ-х! А мы что же, так и будем с тобой через порог разговаривать? Пускай в дом! — и он сам шагнул в полумрак сеней, отстраняя оробевшую Катьку.

— А ты кто? — невпопад переспросила она.

— Хэ-х! Да Генка я, Генка. Не признала? Васька-то дома?

— А ты зачем пришел?

— Тьфу, е-мое! Да за Васькой же, спросил ведь. Дома он?

— Чё-о?

— Дома Васька, спрашиваю?

— Никого нету.

— Ну вот — здрастье! Никого. Куда ж он запропастился?

— Мама еще утром на поминки ушла. К Ковалевым вроде. Весь день там пробудет, сказала. Девять дней как умер...

— Ох, Катька! — перебил Гостюхин. — Ну дура ведь ты — ей Богу! Я же тебя не по мать, а про брата спрашиваю, Василия. Дошло?

— Да-да. Он никак на демонстрацию ушел, на площадь.

— На кой черт! Демонстрант контуженный! Как же быть?

— Может, чё передать ему?

Катька чуть ли не с собачьей преданностью смотрела снизу вверх на Генку. Она была ему ростом от силы по грудь. Ладная, пышненькая. Про таких говорят, что они, как сбитень, как хлебушко.

Гостюхин стоял, раздумывал, уперев руки в боки, смотрел на Катьку.

Вспомнил, как когда-то в детстве ребятня дразнила Катьку, подстраивала всевозможные козни, чтобы можно было над ней посмеяться. Да, впрочем, и сам он любил подшутить над дурочкой.

Однажды увидел ее зимой на улице, подбежал и с притворной радостью предложил:

— Катька, конфетку хош?

— Хочу.

— А ты снежка поешь — дам!

Доверчивая Катька сняла с ручки варежку, зачерпнула горстку снега и, откусывая понемножку, принялась есть. Генка стоял рядом и терпеливо ждал, скрывая злорадный восторг.

— Я съела, — сказала Катька и показала пустую, порозовевшую от мороза ручонку. — Дай конфетку!

— А пряника ты не хош? А? Вот такого?! — и он сунул под нос Катьке костлявую фигу.

Она недоуменно скосила глаза к переносице, пытаясь раз-

глядеть Генкин «пряник», потом поджала пухлые губки и хлопнула носом. Заревела. А Генка, довольный своей удачной проделкой, вприпрыжку побежал в сторону.

Сейчас, десять лет спустя, он смотрел на нее с явным восхищением.

— А ты похорошела, Катька!

— Чё я сделала?

— Хэ-х! Похорошела ты — говорю. Вон какая стала! — и он сделал шаг к ней.

— Какая? — Катька хлопнула глазами и отступила.

— А эт-я сщас проверю. Ну-ка!

Генка мягко рванулся к ней и обнял. Стал тискать.

— О-о-о, какая ты мягкая!

— Ты чё? Пусти!... Эй!

— Одну минут-точку!

— Я маму крикну!

— Хэ-х, голова садовая! Давай, дуреха, кричи, она ж на поминках.

Катька сообразила это и совсем растерялась. Заметалась глазами, глубоко задышала в Гостюхинских объятьях и обмякла от странного испуга.

Генка торопливо, но с нежной страстью уже шарил рукой под кофточкой Катьки.

— Какая ж ты стала-то, а! Хэ-х, а я и не знал. Дуреха ты моя! Сдо-обная! Вку-усненькая!

Генка поцеловал ее в губы. Она слегка отпрянула.

— Ты чего это?! Это нельзя!

— А я хочу. Почему ж нельзя?

— Нельзя это... Мама не велела.

— Хэ-х, мама ей не велела! Эх ты, дуреха нецелованая!

— Почему это не целованная? Я целованная!

Гостюхин на мгновение оторопел от ее слов, но тут же увлек Катьку вглубь сеней.

— Правда! Целованная?!



— А то нет. Я и маму целовала, и Ваську. И он меня тоже.

— А меня, значит, нельзя? Ха-ха-ха-ха! Чужой выходит! Так, да?

— Не знаю.

— Что хоть ты знаешь! Эх, Катюха, да я же брат твой... Дворяродный, — на ходу соврал Генка.

— Честно, что ли?

— Да клянусь тебе!

Он снова обнял ее, поцеловал в губы и шею.

— Значит, никого дома-то нет?

— Ага, никого. А ты, вправду, мне брат?

— Да чтоб мне провалиться! Эх, Катька, хорошая ты — добрая и глупая. Пошли в дом. Чайком-то угостишь... братца? Хэ-х!

Генка отворил дверь, потянул за собой Катьку и прошел с ней в комнату. Посадил на кровать. Та послушно села, стала смотреть на него. Гостюхин облизнул губы, игриво подмигнул и доверительным голосом спросил:

— Катюх, а тебе приятно было, когда я тебя целовал, а? Вот если честно — приятно?

— Ну, приятно. А чё?

— Хочешь еще? Я научу.

— Давай.

Он опять прильнул к ее губам, а свободной рукой ловко проскользнул между пуговиц халата и ласково стал гладить, слегка сжимая, Катькину упругую грудь с твердым, как горошина, соском.

Катька глубоко вдохнула воздуха и прижалась к Генке, обхватила рукой. Он целовал ее в жаркую шею и на ощупь, одну за другой, расстегивал пуговицы халата. Катька не сопротивлялась. Она всегда была объектом обидных насмешек и мало видела в жизни доброго от людей. Праздником для Катьки была и материнская ласка. Поэтому сейчас она совершенно не знала, не представляла как ей поступить, и полностью доверилась все знающему «брату» Генке.

Но то, что стал делать с ней Генка дальше, ей было совер-

шенно непонятно и даже испугало ее. Новые, еще неизведанные ощущения с резкой болью, властно всколыхнули Катькино неискушенное нетребовательное сознание. Вся она глубоко погрузилась в что-то незнакомое, чуждое, но уже давно подспудно желанное. Была ли она счастлива или несчастна в эти минуты, Катька и сама не могла понять до конца. Просто безропотно покорила тому, что случилось с ней.

А Генка ушел. Лишь со свойственной ему бесшабашностью бросил Катьке с порога напоследок:

— Что, Катька. Понравилось? Хэ-х! Мне понравилось. Ты хоть и дура, а ничего, ласковая, я таких люблю. Не больно хоть было? Первый раз ведь все-таки...

Катька недоуменно выкатила глаза и смотрела на него, своего первого мужчину, покусывала губы.

— Катюх, хочешь я еще приду?

Та в ответ сначала замотала головой, но тут же утвердительно кивнула.

— Ты только это... Своим не говори, что мы тут делали. Слышишь?

— Почему? — Катька искренне удивилась. — Ты же наш брат!

Генка вскинулся, сверкнул глазами, потом резко нахмурился и грозно, сквозь зубы процедил:

— Не вздумай! Только, дура, попробуй — побью! И приходить не буду.

Катька торопливо закивала головой. Она никак не хотела, чтобы ее побили, а еще больше испугалась за то, что Генка не придет к ней.

Гостюхин для острастки погрозил Катьке кулаком, приказал одеться и вышел, хлопнув дверью. А припугнутая Катька на ходу застегнула халат, подбежала на цыпочках к окну и, глупо улыбаясь, стала смотреть вслед удаляющемуся Генке. Глядела до тех пор, пока он не свернул на соседнюю улицу.

Гостюхин наведывался в Ступицынский дом еще несколько

раз, выбирал такое время, когда ни матери, ни брата Василия не было дома. Она всегда ждала его. Теперь Катьке уже нравилось то, что когда-то так сильно испугало ее. По-бабьи, заполошно радовалась, когда он приходил и жадно облапывал за талию своими цепкими шоферскими ручищами. И, как под присягой, молчала с домашними об этих встречах. Где-то подсознательно боялась нарушить свою единственную огромную радость, которая так нежданно появилась в ее никому не нужной жизни. Словно каким-то шестым чувством предугадывала, что и без того счастье будет недолгим.

Кончился май. Генка вышел на работу. Все пошло по-старому. Катька осталась в прошлом. Только иногда, проезжая мимо их дома на своем грузовичке, он неизменно видел ее. Катька стояла у заборчика в ожидании чего-то, и Генка тормозил, высовывался из окошка кабины и кричал пьяным голосом:

— Привет, Катюх! Как жизнь-размазня?! Хэ-х! Скучаешь? Не бойсь, забегу! Жди!

И она все ждала. Каждый вечер выходила к калитке, шарилла глазами по улице, а Генка все не приходил...

Наступила осень. Дружный листопад густо заляпал улицы пестрыми пятнами листьев. Небо помутнело и ближе придвинулось к горбатым крышам домов. По утрам иней выбеливал досчатые тротуары, а под ногами хрустел ледок замерзших луж. Был на исходе сентябрь.

В один из таких вечеров Катька по обыкновению снова вышла к калитке. Наивно и преданно стала смотреть вдаль улицы. Ждала. До-олго. Холодный порыв ветра обжег лицо, выбил из Катькиных глаз слезы. Она погрустнела, тяжело вздохнула и вдруг резко замерла, напряглась всем телом. Словно прислушалась. Потом настороженно и тихо опустила голову вниз и бережно положила руки на живот.

Что-то непонятное Катьке, будто живое, впервые, по-хозяйски, толкнулось у нее под самым сердцем.

## АНАСТАСИЯ

— Старух, а сѣдни которо число будет?

— Двадцать седьмо, — донеслось глухо из-под одеяла.

— М-м-м... А месяц? Декабер?

— Ну...

— И то... А то я уж было запомятовал. Значит, де-ка-бер, — повторил он с расстановкой, надевая рубаху и вставая с кровати.

— Да ты куды не свет ни заря? — спросила, тоже поднимаясь, вконец разбуженная старуха.

— Как куды? Вчера все было говорено.

— Ой, боже ж ты мой! — запричитала старуха, всплеснув руками.

— Да, можа, еще обойдется все, а-а? Ой, боженьки-и-и!

Ишь ты, брат, — перемогнется! А то не слышала, что на-медни ветинар сказал? Веди-ка, говорит, Михеич, ее на убой. Молока вам от нее уже не видать, а так хоть мясо будет. Жалко, коли сама околеет, ей, уж, мол, недолго осталось.

— Да, можа, ошибся ветинар-то твой, — горестно хныкала старуха, — можа, выправится, милая! Го-осподи-и-и-и!

— Экхватила! «Можа, ошибся». А то не думаешь, что наш ветинар — человек уважаемый, учоной. А ты его под сомнение ставишь, — наставительно рассудил старик.

— Да не ставлю я-а-а! Жалко мне её-о-о! — совсем заголосила старуха, закрыв лицо руками.

Многие в селе уже знали, что у Липатниковых горе — пропадает корова. Любимица. Ветеринар, приходивший к ним два дня назад, осмотрел корову, выслушал стариков о том, что она уже много дней толком не ест, покачал головой. Поставил неутешительный диагноз какой-то коровьей болезни и ушел, посоветовал не дожидаться, пока та сама не околеет через неделю. Да что и говорить, пожила уж коровушка свое.

Михеич оделся в серенькую фуфайку, нахлобучил на голову

старенькую кроличью шапку-ушанку, натянул на ноги тесноватые, еще не совсем разношенные валенки. Сел на табурет, для солидности помолчал, деловито натягивая калоши на валенки, потом только начал говорить.

— Ты вот, старуха, со мной всю жизнь, почитай, прожила, а нисколько умней не стала, — сказал он с расстановкой. — Все тебе объяснять надо.

— И-и-и, у-умник выискался! Чего ж не министр-то тогда? В пинжаках бы ходил да ботинках. А то, вон, окромя валенок да калош ничегошеньки и нету.

— Ла-адно, не бубни, — по обыкновению протянул старик.

— Зачем калоши-то?

— Затем, что корову на убой поведу. Не на танцы же собираюсь.

— Ну-у, и?

— Вот и «ну-у»! Мало ли что. Там же кровищи, наверное, будет. Вдруг наступлю ненароком — весь валенок пропитается. А так все путем будет. Соображать надо, — рассудил он поучительно.

Старуха в ответ лишь махнула рукой: «Бог с тобой! Дело хозяйское».

А Михеич вышел во двор и побрел к стайке. Подойдя, он отодвинул засов, отворил дверь и шагнул в полумрак стойла, с густым, застоявшимся запахом сена, молока, коровьего пота и навоза. Осмотрелся, привыкая к недостатку света.

Белесым пятном у бревенчатой стены стояла липатниковская корова. Смотрела неотрывно на хозяина.

У нее было довольно странное для коровы имя. Назвала ее старуха уж как-то совсем не по-коровьи, а просто в честь своей первой внучки: Анастасия. Местный пастух поначалу долго потешался, когда водил на выпас сельское стадо — прочих Буренок, Чернушек, Зорек. А тут на тебе — Анастасия! Пряма-таки королевское имечко!

— Настасьюшка!... — ласково кликнул старик корову.

Та в ответ тихо и коротко мыкнула.

— Наста-асьюшка, жива! — обрадованно пролепетал старик.

Он подошел к ней погладил по спине. Поцарапал между рогами и за ухом. Вздохнул.

— На-ка вот. Можя, поешь?

И он сунул ей пук мягкого душистого сена.

Анастасия вытянула к сену обвислую шею, но есть не стала, глядя на старика грустными большими глазами.

— Эк ведь тебя поприжало, родимая! — жалостливо выговорил Михеич. Бормоча ласковые слова Анастасии, он не спешно вывел ее за веревку во двор. Старуха, уже одетая, стояла на крыльце.

— Да чего ж ты так быстро-то! Хоть бы чаю, что ли, попил. Я бы пока попрощалась с ней, матушкой моей, — начала было старуха., но Михеич печально и сухо оборвал ее:

— Нет. Уж пора вести. Я с Егором договорился. Ждет, наверно.

Старуха всхлипнула. Завыла, обнимая корову за шею. Анастасия покорно стояла и мелко вздрагивала от мороза, выведенная из теплого и влажного помещения стайки. Изредка шумно вбирала и выпускала из себя воздух, устало поводила головой по сторонам и смотрела вокруг болезненно блестящими глазами.

— Ну, ладно, будет, — сочувственно проговорил старик и тронул старуху за плечо. Та сразу вдруг сжалась и смолкла.

— Я... пошел.

Михеич осторожно потянул за веревку, и Анастасия послушно поковыляла за ним. На улице старик оглянулся в сторону дома и тяжело вздохнул, встретившись взглядом с заплаканными глазами жены.

— Пойдем, Настюш, — обратился он к корове, которая выжидающе и тоскливо смотрела то на старика, то на старуху, стоявшую в проеме ворот, то бесцельно вглядывалась в даль за

рекой и все так же дрожала, едва держась на обессиленных ногах.

И они пошли.

Поскотина, где забивали животных, находилась на противоположной стороне села, у леса, и путь предстоял не близкий.

Старик украдкой отирал скупые слезы, семенил впереди неровными шажками и виноватым голосом разговаривал с коровой, словно пытался ее как-то утешить.

— Что ж ты, Настасьюшка, разболелась-то у нас? Старуха-то, вишь, как изводится — ревмя ревет. Жалко.

— Му-у-у, — словно понимающе, отвечала бредущая позади корова, тяжело дышала старику в спину и выпускала из ноздрей густые клубы пара.

— Вот и я говорю, пожила бы еще годик-другой, а? И тебя ведь даже жаль.

— Му-у-у-у, — монотонно вторила Анастасия.

— Ты только, Настенька, не бойся, — продолжал извиняться старик. — Егор — мужик хороший и сильный. Он у нас конюх. Не бойся, не больно ударит, с одного раза порешит. Он умеет. Ты прости, что не я, а чужой. Я уж слабый для этого. Да и рука на тебя не подымет.

Так и шли они. Старик тихо бормотал что-то, то и дело обращившись к корове, а она понуро качала головой и осторожно переступала сзади, изредка помыкивая в ответ.

Дошли до поскотины. Егор уже ждал с колуном в руках, опираясь на него, как на посох.

— Привет, батя.

— Здравствуй, Егор. Вот... привел.

— Угу.

— Чтоб не маялась — сможешь?

— Угу. Плевое дело! Видно, что слаба.

— Ты уж не оплошай, Егор, — жалобно просил Михеич и тоскливо глядел на корову.

А Анастасия, до настоящего времени безучастно, безропот-

но ковылявшая вслед за стариком, теперь настороженно оглядывалась по сторонам, тревожно нюхала то воздух, то утоптаный снег, пахнувший кровью. Нервно и испуганно косила выпученными глазами на собравшуюся невдалеке большую свору бездомных одичавших собак — завсегдатаев кровавого пиршества, которые уже сейчас жадно глядели на нее, облизывались и нетерпеливо урчали.

Конюх и Михеич не успели заметить той перемены, которая произошла с Анастасией. Она вдруг вся напряглась и часто задышала, переступая копытами по хрустящему промерзшему снегу. А когда Егор уже было взялся левой рукой за рог, чтобы заломить корове голову, она вдруг резко рванулась в сторону и (откуда только сила взялась!) опрометью поскакала прочь с покотины, в сторону леса.

Разом оцетинившаяся свора собак тут же кинулась в погоню, стремглав промчавшись мимо ошарашенного Михеича и упавшего на снег Егора.

— Да что же это, а! — выдохнулось у старика. — Настенька! На-стя-а!

— Да не волнуйся, батя. Нагоним мы твою корову, надолго ее никак не хватит. И что только с ней такое случилось?! Как вожжа под хвост попала! А ты говорил, помрет не сегодня-завтра. Присядь пока здесь на бревно. Пойду, лошадь запрягу.

А собаки гнали и гнали Анастасию по лесной дороге. То и дело подскакивали и хватали ее зубами за ноги, за бока. Она спешно, на бегу отлягивалась от них, норовила боднуть самую нахальную и все бежала из последних сил с беспросветным отчаянием в глазах, временами исступленно взмыкивала на всю округу, перебивая ошалелый лай собак.

Тяжело дыша, она вразнобой, почти бессознательно перебирала ногами, с усилием отталкиваясь от накатанного снега дороги, держа на отлете тощий жгут хвоста с метелкой на конце. В налитых кровью бездонных глазах стоял ужас загнанного обреченного животного.





Вдруг корова надсадно захрипела, ее бешеные скачки резко замедлились, и она, рванувшись еще раза два вперед, остановилась, покачнулась и неловко рухнула на колени, мигом облепленная со всех сторон разъяренными собаками. Упершись рогами в снег, Анастасия еще попыталась встать, но свора свалила ее набок, исступленно разрывая когтями и зубами изможденное тело коровы. Анастасия уже не мычала, а только утробно хрипела, беспорядочно вздрагивая ногами в предсмертной агонии. Из распоротого собаками брюха шумно вышел теплый, пахнущий внутренностями воздух. Тело Анастасии в последний раз передернулось и замерло, обмякло. Вокруг слышалось только глухое ворчание и жадное чавканье собак.

Когда, отчаянно нахлестывая лошадь, Егор и Михеич наконец подъезжали к месту звериного пиршества, Анастасию уже нельзя было узнать. Развороченная туша с торчащими наружу обглоданными ребрами издали кровянела посреди дороги.

Завидев приближающиеся розвальни, собаки нехотя отпрянули в сторону, стараясь ухватить кусок побольше.

Егор на ходу соскочил с розвальней, останавливая лошадь.

— Тпру-у-у-у! Ах, чтоб вас р-разор-рвало! — и он, схватив с дороги, бросил в собак наугад «картофелину» мерзлого конского помета.

Собаки, недовольно урча и скаля зубы, отбежали метров на пять и легли на снег. Пристально глядели на людей и облизывали окровавленные морды с застывшими красными ледышками на усах.

— О-о-ой-е-ей! О-о-ой-е-ей! Ма-а-атушка-а-а! — безудержно плакал старик над коровой. — Да что же это, а-а-а! Ох, вы, нехристи-и!... Настенька-а-а!... У-у-у, зас-стрелю-у-у! — с надрывом ревел старик сквозь зубы и грозил иссохшим кулачком в сторону собак. — Застрелю-у-у! Все-ех!...

— Ну, Михеич, ну, не надо, — успокаивал его Егор. — Пропала уж теперь корова. Все мясо попорчено. Поехали домой... Ничего не поделаешь...

Он попытался поднять Михеича с колен, который теперь совсем забыл про калоши и сильно испачкал штаны в густой крови.

— А ты-то чего медлил! — накинулся было старик на Егора. — Ох, горюшко-о-о! Вот оно горюшко-то где-е-е!

Егор, наконец, крикнув, сумел поднять старика на ноги, и тот, пошатываясь и спотыкаясь, побред к розвальням, все оглядываясь на Анастасию, которую Егор сообразил оттащить к краю дороги.

Обратно ехали молча, Егор мрачно курил, да изредка понукал лошадь, щелкая ее по крупу вожжей. Михеич сидел спиной к конюху, в горестном забытии глядел на убегающую из-под скрипящих полозьев дорогу и не видел ее, как не видел ни леса, ни первых промелькнувших домишек села. Перед его мысленным взором неподвижно стояли глаза Анастасии, большие и черные, как сливы, в пушистом венчике ресниц, с безграничной усталостью и тоской, полные неизбежной боли, теперь стеклянно ледеенеющие в лесу на декабрьском морозе.

## ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ

Михеич сидел на скамейке боком к печке и курил трубку. Неторопливо втягивал в себя, при этом прищуривал глаза с обряжшими веками, и столь же медленно выпускал изо рта желтоватый густой дым самосада. Топил печку. В доме уже заметно потеплело. В топке слабо шуршали раскаленные угли, печка дотапливалась.

Не выпуская изо рта трубки, старик снял телогрейку, взял длинную кочергу, открыл дверцу печи и последний раз пошерудил остывающие угли, сдвинул их кучкой подальше от дымохода. С минуту или две выждал, встал, со стоном распрямил до хруста спину, крепко задвинул заслонку и снова с облегчением

сел. Вгляделся в старые ходики с одной гирькой-шишкой. Качнул головой и стянул губы в трубочку. Было без четверти восемь.

— Где же нашу старуху-то носит, а, Вась? — обратился он к белому с рыжеватыми пятнами коту.

У Михеича всегда была эта странность: очень уж любил разговаривать с животными. Причем не в шутку, как многие, а именно серьезно, как с человеком. То им новость какую расскажет, а то и за советом обратится.

Было дело. Один раз Михеич за сеном ехать собрался. Вышел лошадь запрягать в сани, сам разговаривает с ней между делом. А потом неожиданно возьми да и спроси:

— А что, Бурко, как ты думаешь, сѣдни ехать али завтрава подождем? А? Сѣдни?

А лошади вдруг случись с чего-то головой замотать после этих слов, оно и замотала. Да так сильно, что старик малость струхнул даже, стал обратно распрягать да приговаривать:

— И то правда! Что ж это я тебя сразу-то не спросил. Подождем до завтрава. Не ровен час — пурга вдруг начнется. Сгинем тогда оба.

Завел лошадь обратно в стойло и сам зашел в дом, разделся к удивлению старухи, сел за стол чай пить.

И что самое-то интересное, немного погодя погода, действительно, стала быстро портиться, повалил густящий снег, завьюжило, загудело, и целых два дня пробушевала пурга, загнав всех по домам. Старики тоже сидели в домике, Михеич тогда все крестился да благодарил за провидение лошадь, всячески расхваливал перед старухой ее ум...

— Где ж она запропала-то, а? — спросил он снова кота о старухе.

Васька только едва повел ухом в сторону голоса. Разморенный жарой, он сидел подле самой печки с плотно закрытыми глазами и был похож на медитирующего китаецца.

— Вась, ты чего молчишь, когда с тобой разговаривают?

Уши кота снова слабо шевельнулись.

— Васька, иди ко мне!

Та же реакция.

Старик усмехнулся и хитро блеснул глазами. Потом вскинул брови и, радуясь своей догадке, вкрадчиво и нараспев сказал:

— Ва-сень-ка-а, а я ведь против твоего молчанья-то волшебное сло-ово знаю!

Михеич выждал хорошую паузу и в полной тишине произнес.

— Кыс-кс-кс-кс-кс!

— Мя-а-а-ау!

Ваську как подменили. Он мигом вспрыгнул Михеичу на колени, замурлыкал, захыркал, стал тереться усатой мордочкой в грудь старика, распушив хвост трубой. Тот довольный широко улыбался.

В это время приглушенно стукнула калитка, и по двору захрустели торопливые шаги.

— Ну вот и дождались хозяйку, — заключил старик, поглаживая кота.

Отворилась дверь, и спиной вперед вошла, по-бабьи кряхтя и взохивая, старуха, вместе с ней в комнату ворвался большой белесый клуб морозного воздуха.

— А ты чего это в потьмах-то сидишь? Ни зги не видно! — быстро проговорила она, осторожно, но скоро поставив на стол ячейку яиц.

— Свет у нас отключили. По всей улице. Только ушла ты и — сразу.

— А-а, я и не заметила даже! Бежмя бежала, как ошалелая!

— Чего ж так?

— Чего! Крещенские ведь на дворе! Забыл? Ресницы и те смерзаются. Шутка, что ли! А тут еще попку волоки. Ни закрыться, ни отворотиться.

— Н-нда. В лютый холод всякий молод. Хорошо хоть дошла. Не околела на дороге.

— Типун тебе на язык! Все бы подтрунивать!

— Хе!

— А накурил-то как, го-осподи! Хоть топор вешай!

— А мне-то чё. Хочешь, дак вешай. Хе!

— Дымит, дымит каждый день! Как паровоз!

— Ла-адно, не бубни! Кота испугаешь.

— Вас испугаешь. Как же!

— Ну во-от, зате-еяла. Мы тут, понимаешь, с Васькой ждем ее, как христово яичко, а она и-ишь как расшумелась.

У нас тут такая тишина была. Правда, Вась?.. Где ходила-то эко время?

— А вот за яичками-то как раз и ходила. Аль не видишь?

— На что? Чай не праздник. Крещение-то уж прошло, сколь я знаю.

Старуха наконец отдышалась, разделась, села напротив, у стола. Поглядела на Михеича и вздохнула:

— Ты у меня совсем со склерозом стал. Начисто все забыл.

— А что такое?

— Что. Именины у тебя через четыре дни — вот что. А яйца я купила, чтобы постряпать чего-нибудь.

— И то... Я и правда забыл. Постой, это сколько ж мне стукнет?

— Семисят шесть. Ты же в десятом году родился.

— Н-нда-а, память с дыркой, стала, — с сожалением протянул Михеич.

Старуха тут встала, ушла на кухню. Видимо, начала шарить руками по столу и тут же загремела в темноте, уронив что-то. Старик заворчал.

— Тебя лешак там водит! Сама расшибешься и посуду всю перебьешь!

Старуха тихо, с досадой охала, потирала ушибленный локоть.

— Чем ворчать-то, помог бы лучше, ирод!

— Что-о такое?

— Керосинка у нас где?

— Под стулом у холодильника.

— Нету.

— Смотри лучше. Глаза-то разуй.

— Да нету, что я слепая, что ли!

— Тогда за самим холодильником гляди... Нашла?

— Нашла, нашла.

— Неси сюды, спички у меня.

Зажгли лампу. Освещенная комната стала родной и уютной. Старуха еще немного посуетилась, собрала уроненные миски на кухне да черепки от одного разбившегося -таки блюдца. Потом взяла клубочек шерстяных ниток и спицы, села около печки и стала надвязывать протертые пятки стариковских теплых носков.

Замолчали. Старик снова набил в трубку табак пожелтевшим как у всех «трубочников» пальцем и курил, старуха же споро перебирала спицами, склонив голову над вязаньем. На стене монотонно тюкали ходики, а Васька напряженно затаился у дырки в подполье и караулил скребущуюся там мышь. Михеич о чем-то думал, поглядывая иногда пристально на жену.

— А что, старуха, столько лет прожить, как я, это шибко много?

— Да уж никак не мало, — отозвалась та, не отрываясь от своего дела.

— Н-нда. Порядочно... Тело-то, и правда, вон как одрябло. Глянь.

— Чего мне гадеть-то. Я тебя, как облупленного, вдоль и поперек знаю.

— Ишь ты, — добродушно выговорил Михеич и пососал трубку. Потом склонил голову набок и снова поглядел на старуху.

— А ведь не плохо мы с тобой жили, а?

Старуха из-под очков глянула на старика и оттопырила нижнюю губу: «к чему это, мол, он ведет?». Затем вдруг тихо расмеялась и игриво ответила:

— Жили? Хи! Вот так и жили: спали врозь, а детки были!

— Тьфу! Я ж тебя серьезно, в большом плане спрашиваю, а ты!

— На-ка, «большой план», носок померяй, ладно ли будет?

— она протянула старику один носок, а сама вытащила рядом из угла прялку, которая досталась еще от матери, села на нее и принялась прядь уже привязанную шерсть, ловко потерябливая ее одной рукой, а в другой быстро-быстро прокручивая веретено. Оно прямо так и вертелось юлой и постепенно увеличивалось в объеме.

Михеич тем временем сидел с носком на одной ноге. Так и сяк разглядывал его. Даже ногу на колено положил, чтобы лучше разглядеть. Помусолил с недоверием вязку между пальцами: надежна ли? Потом с оттенком великодушия сказал:

— Хорошо сделано! Молодец, старуха.

Та в ответ только отчетливо хмыкнула. Она не обиделась. Они вообще со стариком никогда серьезно не ссорились. Оба любили пошутить, а если и поворчать, повздорить, то тоже с известной долей шутки. Потому, может быть, и прощали легко друг другу житейские мелочи. А за столь долгую совместную жизнь, несмотря на видимую разность характеров, совсем по-притерлись друг к другу, стали не разлей-вода — старики Липатниковы. Недаром же в народе говорят, что не по хорошу мил, а по милу хорош. Так было и у них.

Михеич докурил трубку, стукнул ею легонько о край стола, вытряхнул теплую горочку пепла. Старуха между тем уже устала прядь, движения замедлились, от однообразной работы да еще при недостатке света неудержимо стало клонить ко сну. Она вздохнула, заткнула веретено в шерсть и, обращаясь к прялке, погрозила пальцем и шутливо наказала:

— Я сейчас спать лягу, а ты без меня одна ночью пряди. К утру чтоб все выпряла. Поняла? Вот так.

Она стала, от души зевнула и перекрестила от нечистой силы рот. За ней встал и старик, опять распрямляя с усилием спину и постанывая.



— Ох. Старуха, болит у меня спина-то, моченьки нет! Словно кто шилем в нее тычет.

— Ну-у, беда мне впрямь с тобой. Третий день уж маешься, а все ничуть не лучше. Айда, ложись. Сейчас постелю, и ложись, а я спиртом тебе хребтину-то натру.

— Ох, во! Самое дело! А то ж ведь так и стреляет в костях-то.

— Ну давай, айда, имвалид! Не рассыпья, покуда дойдешь.

— Да ты погодь, погодь маленько! Я даже шага ступить не могу — так насиделся. Ханроз проклятый! Чтоб ему пусто было!

— Сам виноват. Тебе чего врачиха сказала? Не курить. А ты? Вот погоди еще, найду где прячешь, весь твой табак в печке сожгу!

— Да ты погоди, не серчай! Сама ведь знаешь, с войны костями стал маяться. Сколько болот вброд переходить пришлось.

— Помню-помню, все помню. А и курить тоже не надо бы, бросать надо.

— Да куда уж мне бросать. Поздно. Как я без трубочки, — грустно сказал старик и наконец со вздохом поковылял к кровати.

Спустя полчаса Михеич лежал под двумя стеганными одеялами уже разогретый, растертый и тихо кряхтел. Старуха тоже вскоре легла, потушив лампу, и повернулась к старику.

— Ну, чего? Легче?

— Да вроде как. Отпустило.

— Ну и слава богу. Теперь спи. Да смотри, чтоб к именинам здоров был.

— М-м, и хвостик морковкой! — коротко и тихо хохотнул старик.

— Ну это уж, если сможешь, — по-доброму усмехнулась в ответ старуха. Поворочалась на перине и сонно добавила:

— До завтра. Спи.

— До завтра. — выдохнул Михеич в подушку и замолчал.

Спустя некоторое время в доме Липатниковх уже все спали.

Положив ладони под голову, еле слышно посапывала старуха, размеренно всхрапывал Михеич, а в ногах между ними свернулся в пушистый клубок и бесшумно спал-дремал кот Васька, прислушиваясь к ночным избяным шорохом. До завтра.

## ХОРОША МАНЬКА!

«Эх, хороша Манька! Грудь-то под платьем какие выпуклые, как мячики! А ножки, ножки просто прелесть! И лицом бог не обидел. Да-а. хороша, сла-атенькая! Вот только как бы к ней подъехать?» Так думал Сашка, одиннадцатиклассник Першинской средней школы, когда тайком разглядывал из-за поленицы соседку Маньку Пузыреву.

Манька сидела на крыльце дома с широко расставленными ногами и щелкала семечки. Сашку она не видела, поэтому чувствовала себя раскованно. Глядела поверх забора да изредка шлепала пухлой рукой по голым коленям, убивая комаров.

Сашка почти не дышал! Его взгляд был просто прикован к розовым кружевным трусикам Маньки, которые столь откровенно предстали жадному взору благодаря ее позе.

Темные волосики на бугорке отчетливо просвечивали сквозь узорчики, так и манили к себе.

Про Маньку судачили много и разное. Всё за глаза. Она не была замужем. Но говорили, что в свои двадцать четыре года Манька знала уже достаточно мужчин, и вообще, по сплетням женщин, была «слаба на передок». Полускрытно, хотя сомнительно, что на селе утаишь, жила с Семеном Подметкой — сельским сапожником, но и других мужиков особо не чуралась. Щедро дарила свою любовь. За что, бывало, получала от ревнивого Семени хорошего тумака. Иногда от подвыпивших мужичков Сашка слышал про Маньку удивительно заманчивые вещи, что еще больше разжигало интерес и желание к ней.

— Вот это пирожок! — зачарованно прошептал Сашка и решил перебраться чуть левее. Но неосторожно двинул ногой и зацепил кедом за сучковатое полено, которое с шумом скатилось вниз.

Сашка замер, но было уже поздно. Манька заметила его, сдвинула ноги и вправила платье между колен.

— Ты чего там зыришь? — окликнула она.

Рассекреченному Сашке пришлось вылезти на верх поленницы.

— Привет, Маня! — начал он заигрывающе и бодро.

— Чего зыришь, спрашиваю?

— На тебя глядел.

— Я тебе не картина.

— А может, Манечка, ты как раз картина и есть.

— О-ой-ха-ха-ха-ха! — залилась она дробным смехом. — Он меня Манечкой назвал! Ма-анечкой! Ты чего сегодня такой ласковый, а?

Сашка решил действовать напрямую:

— Пирожка твоего хочу.

Манька опешила:

— Какого еще пирожка?

— А того, что ты под платьем прячешь, — не смутился Сашка.

— Хэ-э! Иди-ка! Чего захотел! Больно прыткий!

— Ну, Ма-ань! Ну по-соседски! Никто и не узнает! — игриво настаивал Сашка.

— Сопляк ты еще, — выдала Манька с презрительной улыбкой, встала и спешно вошла в дом.

Сашка только досадно вздохнул и слез с поленницы.

— М-мда, сорвалось! Ну, ни чего, измором возьму! — утешил он себя и прицокнул языком.

Следующий день для Сашки прошел безрезультатно. Кроме язвительных насмешек Маньки, он ничего не добился. Правда, некий намек, который бросила напоследок Пузырева, вселил в него уверенность. Она сказала:

— Со мной, Сашенька, без пряников вообще не стоит заигрывать.

Утром Сашка наскоро позавтракал и побежал в магазин. Купил там плитку шоколада, коробочку леденцов и направился к Маньке.

Пузырева снова сидела на крыльце. В ведро, которое стояло ступенькой ниже, чистила картошку. Когда увидела входящего во двор Сашку, то оторвалась от работы и сама себе хохотком возвестила:

— Кавалер пришел!

— Ага, — взбодрился Сашка. — С пряниками.

— Да ну! — она снова рассмеялась.

— А как же!... — Сашка немного замялся. — А у тебя что — традиция, на крыльце-то сидеть?

— Традиция, — передразнивая, ответила Пузырева.

— Ишь ты!

— Зачем пришел-то?

— Да все за тем же.

— Насты-ы-ырный!

— Ну так, — парировал Сашка. Сплюнул сквозь зубы и уселся рядом с Манькой. Достал шоколад, леденцы. Нарочито галантно преподнес Пузыревой. Та с усмешкой взяла подарок.

— Спасибо, ухажер.

Сашка принял это как прямое разрешение к более конкретным действиям и приобнял Маньку. Та моментально стряхнула его руку.

— Не лапай! Не хозяин! Вся улица видит.

— Пошли в дом, Мань. А?

Пузырева промолчала. Стала снова чистить картошку, тихонько напевая, чтобы больше раззадорить Сашку. Этого она добилась.

— Ну так что? — нетерпеливо спросил Сашка.

— Что? — как будто не понимая, переспросила Манька и хитро, лишь уголком рта улыбнулась.



Тут Сашка решительно взял Манькину руку, потрянул, чтобы выпал нож, и стремительно приложил к своему «крепышу», которого уже еле сдерживал плотно сжатыми бедрами.

— Чуешь?

Манька не отдернула руку, а наоборот охватила сильнее. Тихо, с изумлением произнесла:

— Ишь ты, стручок какой! Даже не думала!

«Стручок» ответно дернулся вверх в руке Маньки. Сашка гордо усмехнулся.

— Значит, «пирожка» моего хочешь? А не боишься, что укусит?

— Не укусит.

— Ишь ты! Все знает! Я, выходит, у тебя не первой буду, да?

— Третьей.

— Интересно, кто же те две рыбки, а? — попыталась выведать Манька.

— История умалчивает, — горделивой шуткой парировал Сашка.

После этого Пузырева легко встала и с удовольствием потянулась, выпятила вперед ядреные груди. Осмотрелась кругом. Поблизости никого не было.

— Ну, пошли в дом, соседка! — сказала она, то и дело поглядывая на рельефный холмик, выпирающий из тесных трико Сашки. Глаза ее заблестели.

— Так уж и быть, покормлю твоего зверька! — Пузырева хохотнула, и они оба вошли в сени.

Где-то через час на крыльце показался довольный, как кот, который только что наелся сметаны, Сашка. На его шее красовался лиловый, с трехкопеечную монету, засос. Губы тоже были припухшие, и Сашка то и дело их облизывал.

«Эх, хороша Манька!» — восторженно подумал он, сел на верхнюю ступеньку, достал сигарету и закурил. Зажмурился от не угаснувшего еще чувства приятного онемения внизу живота.

Сзади приоткрылась дверь, и выглянула Пузырева. Громко зашептала:

— Санька, ты чего еще здесь? Иди! Мало мне старых сплетен. Вдруг увидит кто!

Сашка понятливо кивнул, заговорщически улыбнулся Маньке и пошел к себе во двор.

С крыльца приглушенно донеслось:

— Потом еще приходи! Как-нибудь! Ты мне понравился!

Сашка согласно махнул рукой.

Но на следующий день в село вернулся Подметка, который до этого четыре дня рыбачил с приятелями где-то на озерах. Понятное дело, чего теперь он денно и ночью будет пропадать у Маньки. Сашке оставалось только локти кусать.

Но и это было не последнее несчастье. В селе ведь редко, что удастся скрыть. Наверное, все-таки кто-то видел, что Сашка был у Маньки, и с пересудами это дошло через два дня до Подметки.

Сашка беспечно шел из пекарни с хлебом, когда из-за поворота улицы неожиданно вышел Подметка.

— А ну-ка, Шурик, притормози.

Тон его голоса не предвещал ничего хорошего.

— Что-то люди много о тебе говорить стали, а?

— Обо мне? Не слышал.

— Хм, зря. Не ходил бы так спокойно по улицам.

— А что?

— Слышал ли ты, Ш-шурик, что чистосердечное признание снимает часть вины?

— Н-ну... А я-то тут при чем? — полепетал Сашка, хотя уже догадался, о чем идет речь.

— Признавайся: был с Манькой? Спал с ней или нет? — грозно спросил Подметка и надвинулся на Сашку.

— Нет! — почти крикнул Сашка и отступил назад. — С чего ты взял!

— А это ты откуда взял? Чей подарок? А?

При этом сапожник ткнул толстым пальцем в синяк Манькиного засоса.

Сашка подавленно молчал. Куда денешься от улики! И как это он забыл! Ноги у него задрожали.

— Значит, правда, — зловеще выговорил Подметка.

Он уже хотел ухватить Сашку за ворот рубашки, но тот вывернулся, отскочил и припустил, что было силы, прочь. В ответ донеслись грязные ругательства Подметки. Отбежав на безопасное расстояние, Сашка остановился и оглянулся. Погони не было. Только тогда растер ладонью ушибленную ногу (Подметка успел-таки пнуть сапожищем) и окольным путем вернулся домой.

Когда он проходил двором, то услышал как в соседском доме визжит Манька и низким голосом ругается Подметка.

Сашка досадно скривился и пнул носком кеда песок. «Побил бы того, кто донес!» Весь остаток дня он повел в напряжении, как загнанный волк, все думал, что заявится Подметка.

Но вечером Сашка увидел, что к Семену пришли приятели и позвали на бутылочку. Когда они ушли, Сашка наконец-то вышел из дома и притаился на старом месте за поленницей. Стал ждать Маньку. Что-то она скажет?

Долго ждать не пришлось. Манька вышла с помойным ведром в руке. Ее левый глаз совсем заплыл и был синим.

— Господи, что он с ней сделал! — выдохнул Сашка со злобой.

Манька брезгливо вылила помой в яму и пошла обратно.

— Маня! — осторожно позвал Сашка.

Пузырева обернулась, нашла взглядом Сашку. Он попробовал улыбнуться.

— Проваливай отсюда! — процедила она сквозь зубы. — Из-за тебя разукрасили. Шиш ты больше меня увидишь! — и она демонстративно показала Сашке фигу.

— Ну Маня!.. Постой!..

Та даже не остановилась и не откликнулась. Поднялась на крыльцо и хлопнула дверью.

«Это — все! — сам себе сказал Сашка. — Не видать мне больше Манькиных прелестей. А как с ней было хорошо!»

Впрочем, горевать Сашке пришлось недолго. Встретился



однажды на клубных танцах с Леной Чуплыгиной, молоденькой практиканткой из медучилища. И вскружила она Сашке голову, игриво подмигнула чуть раскосым глазом, повела кокетливо в его сторону круглым плечиком. Послала воздушный поцелуй, и открылись перед Сашкой «новые горизонты».

## ДОРОГА ПОД ЗВЕЗДАМИ

Михаил возвращался домой в эту субботу поздно. Он работал истопником в мужевской поселковой бане. Были Рождественские морозы, и топить приходилось — будь здоров. Вроде бы вот, совсем недавно подбросил добрую порцию угля, а в стенку, за которой парилка, уже снова долбят могучими кулаками разгоряченные мужики и повелительно просят:

—Земляк, поддай-ка еще малость.

Михаил встает, открывает дверцу и ловко направляет в ненасытную пасть топки еще две лопаты черного угольного крошева. Снова садится и молчаливо слушает привычный шумок кочегарки: жадное гудение огня, а за стеной довольное кряхтение и разнобойный хлест веников по голым распаренным телам. К одиннадцати часам парилка, наконец, затихает. Рабочий день окончен.

После тепла кочегарки январский мороз чувствуется не сразу, хотя, шутка ли, тридцать девять градусов ниже нуля. Одежда щедро накопила сухой жар. Но лицо гораздо быстрее становится беззащитным на холоде, а до дома еще половина пути. Михаил пересек улицу Комсомольскую, и с пригорка уже видны два родных окна правее метеостанции. Он спускается с холма, одиноко идет мимо колбасного цеха и старой конюшни. Улица безлюдна. Потом останавливается и сквозь заиндевелые смерзающиеся ресницы смотрит в небо.

В этой части Мужей фонарей почти нет, и звезды, густо рас-

сыпанные по небосводу, кажутся намного ярче и ближе. Их незамутненный мерцающий свет настолько пронзителен, что невольно покалывает глаза. Долго вглядывается Михаил в ночные искры неба, пока мороз не начинает настойчиво жалить лицо и пробираться ледяными руками под полушубок. Надо идти.

Под унтами хрустко продавливаются мерзлый рассыпающийся снег. Михаил с внезапным удивлением думает, как давно он не обращал внимания на звезды, он даже забыл, что их так много. Что их так невообразимо много! Искрящийся под ногами снег вдруг напоминает ему далекие лучистые точки в бездонной выси.

—Кругом звезды! Везде звезды! — зачарованно бормочет под нос Михаил, и вдруг, спохватившись, начинает торопливо растирать побелевшие, ничего не чувствующие нос и щеки. Про мороз забывать нельзя.

Михаил поднимается мимо музыкальной школы на следующий холм и попадает на родную улицу Юганскую. Это северо-западная окраина Мужей. Впереди виден его дом. Топится печь, и из трубы отвесно поднимается сизый дым. В его густых клубах кутается и мутно просвечивает холодная полная луна. Михаил замечает, что у калитки двора кто-то стоит. Это Галина, его жена. Он улыбается, разглядев, что Галя надела его огромный тулуп, который смотрится на ней чересчур мешковато, и ускоряет шаг. Галина с ожиданием смотрит в его сторону и притопывает ногами от холода.

—Привет, Галюш!

—Ой, Миша, что ж так долго-то, а?

—Работа, — разводит руками Михаил. — Всем кости прогреть захотелось.

—Час уже жду. Обрато зайду да снова выйду. Уж и детей уложила, и ужин готов, и печь дотапливается, — с женской заботой в голосе проговорила она.

—Ну что ж, вот и пришел, — устало ответил Михаил, приобнял жену и отворил калитку. Они прошли через двор, поднялись на крылечко и зашли в сени.

—Погоди, Миш, не заходи, — вполголоса произнесла Галина и плотно закрыла входную дверь.

—А что? — невольно поинтересовался Михаил.

—Одно дело есть. Только слушай! — она вплотную приблизилась к мужу и, собираясь с мыслями, поджала нижнюю губу.

—Ну?

—Верка-то Конева опять меня сегодня прилюдно обхватила. В магазине, — жалостливо начала Галина.

—Да? Я же ведь толковал с ее мужем, чтоб малость приструнил свою жену.

—С Колькой-то? Да они ж два сапога — пара. Он тебе в лицо одно скажет, а за глаза посмеется и пакость какую-нибудь сделает.

—Так чего же ты в магазине-то сама за себя постоять не могла? Сказала бы ей пару ласковых. Галина всхлипнула:

—Попробовала. Сегодня.

—И что?

—Что? Верка буркнула что-то со злостью и выскочила из магазина.

—Ну, вот видишь, — успокоительно рассудил Михаил.

—Что видишь?! Думаешь — все? Как же! Я из магазина вышла, иду, а она сзади подбежала, видать, караулила, и ногой-то в сумку как пнет! Вот, говорит, тебе, сучка кочегарская! Не распускай свой поганый язык! — Галина зарыдала. — Две банки разбила! Стерва!

—Ну, это уж слишком! — возмутился Михаил. — Вот баба!

—Я и говорю... Ой, ладно, замерзла, давай в дом зайдем. Еще что-то скажу.

Они вошли и тихо, чтобы не разбудить детей, разделись. — Я вот еще что сказать хотела, — шепотом продолжила Галина. — Хватит все это безнаказанно терпеть! Надо им отомстить.

—Это как же? — смешливо поинтересовался Михаил.

—А вот как. Садись, ешь, а я тебе рассказывать буду. Ты мне только сначала скажи: в бане завтра твоя смена или нет?

—Нет. Я отдыхаю.

—Вот и хорошо. Ешь. Тут вот водочки немного есть, выпей,  
— она достала из-под стола початую бутылку.

—Ого! — приятно удивился Михаил. — Чего это вдруг любезность такая?

—Ладно. Расскажу когда — поймешь. Пока слушай.

—Угу, — Михаил налил и опрокинул внутрь первую стопку.

—Салехард по радио на завтра буран обещает. Это зачит, и у нас дня два-три непогода будет, что нос не высуну.

—Ну?

—Да. А говорю я вот к чему. У тебя завтра выходной, днем отоспишься, а этой ночью одно дело надо будет сделать, пока тихо, да небо ясное. Сделаешь, значит, поквитаемся с Коневыми.

—А что за дело-то среди ночи? — недоуменно спросил Михаил.

—Наш покос, помнится, рядом с коневским, — продолжала Галина. — Вы ведь с Николаем вместе косили?

—Да.

—Помнишь, которые их стога?

—Помню, — кивнул

Михаил и пропустил вторую стопку.

—Вот и хорошо. Надо будет сейчас съездить туда и один из их стогов, который от наших подальше, перевезти сюда на сеновал. А свой стожок на потом сэкономим. У нас как раз сено на исходе. Жерди спрячешь куда-нибудь, чтобы не торчали. Не забудь. Пока буран будет, все следы напрочь заметет, как будто того стога и не было. А ехать надо сейчас. Среди ночи тебя никто не увидит. Все уже спят.

Михаил выпил третью стопку и задумчиво потер лоб.

—Холодно же, Галя. Путь-то не близкий.

—А я для того и водочки тебе дала, чтобы грело внутри, — убедительно оправдалась Галина, хотя втайне про себя держала

и другую мысль, что, выпив, муж скорее согласится на такое, не слишком благовидное дело, нежели трезвый.

—Ладно, — без большой охоты ответил Михаил. — Пойду собираться.

—Конечно, миленький! — засуетилась Галина. — Я уже и приготовила все: носки, свитер, ватники. Тулуп оденешь. А вернешься, еще водочки налью, — ворковала она. —И еще кое-что будет, — игриво проронила она, глядя в глаза мужу, и словно бы случайно поправила кофточку на пышной груди.

Михаил обстоятельно одевался и с вождением смотрел на ладную фигурку жены.

—Добро! Я не забуду,— весело ответил он и вышел запрягать лошадь, поцеловав напоследок Галю.

В Мужах все крепко спали, когда Михаил выезжал на противоположную сторону села к Оби. Даже собаки ленились гавкать на проезжающие мимо их дворов пустые поскрипывающие сани. Мороз. Намного приятнее лежать в теплой конуре на мягкой подстилке, уткнув нос в густую шерсть.

По накатанному зимнику лошадь легко устремилась вперед, увозя в заснеженные пойменные просторы одинокого ездока. Копыта гулко ударялись в утрамбованный снег, и Михаил, усталый после рабочего дня, полудремал под их монотонный перестук. Впереди над тальниками безучастно светила луна, окруженная зеленоватым нимбом, и еще невероятней сияли вокруг застывшие капельки звезд. Через купол неба, словно зеркальное отражение дороги, протянулся широкой лентой Млечный Путь.

Полчаса спустя Михаил доехал до покоса Коневых и, свернув с дороги, добрался до самого дальнего стога. Встал с саней и огляделся. Голая промороженная равнина луга с редкими холмиками стогов невольно будила в душе неприятную робость и тоскливое чувство оторванности от мира.

Перед тем как начать переключивать сено в сани, Михаил достал из кармана пачку «Астры», спички и осторожно прикурил. Табак необычно быстро и приятно ударил в голову. «По-

тому что выпил», — объясняя сам себе, подумал Михаил и произвольно снова взглянул в звездную высь.

— Красота-то!.. — прошептал он восхищенно. — Сколько ж вас наплодилось, а! — пролепетал непослушными замерзающими губами Михаил.

Казалось, что лучистый свет звезд так и тянется к его глазам, и что они сами вот-вот сорвутся с неба на землю, прямо в ладони Михаила.

Под ногами что-то зашуршало, и Михаил нехотя оторвал взгляд от неба. По снегу воровато, крадучись змеился тонкий ручеек поземки, трусливо скользнул мимо и растворился в темноте. Первый вестник завтрашней непогоды. Любуясь звездами, Михаил не заметил тот момент, когда проснулся ветер. Еще одна поземка скоро прошелестела мимо. В лицо по-хозяйски ударил студеный порыв ветра. Михаил тревожно нахмурился, поспешно взял вилы и принялся за работу. Надо было торопиться. В Мужах каждый знает, как капризна и неустойчива северная погода.

Вилы в руках Михаила безостановочно описывали в воздухе дуги от стога к саням. В морозном безмолвии были слышны лишь мягкий, покорный шелест сена и шумное, разгоряченное дыхание Михаила. Стог заметно таял, из него все больше выпирали деревянные ребра жердей.

А со стороны озера Сой-Беда неслышно, с привычным северным коварством надвигалась плотная завеса бурана, застилая непроглядной пеленой беззащитные звезды. Если бы Михаил хотя бы на мгновение оторвался от дела, он бы немедленно погнал лошадь обратно, увидев, как неожиданно помутнела луна, а в пустом небе невинно порхают редкие, нечаянные снежинки. Он бы непременно, всем нутром почувствовал ту неповторимо жуткую мертвенную тишь, которая бывает непосредственно перед началом разгула стихии, когда ветер вдруг внезапно умирает.

Буря застала Михаила врасплох. Резкий сильный толчок

ветра чуть не опрокинул его в снег. Он ошалело поглядел вокруг. С каждой секундой все гуще и гуще начинал идти снег. Первый шквал пронесся дальше, но все же ветер оставался сильным и быстро обмораживал уязвимые части лица. Луна окончательно исчезла, только едва уловимое свечение пробивалось сквозь снежные вихри. Навалилась мгла.

Михаилу стало страшно. Наскоро закрепив сено на санях, он вскарабкался наверх и взволнованным окриком тронул лошадь с места. К дороге! Как можно скорее!

Голые жерди так и остались торчать посреди поля. Михаил досадно оглянулся на них и только сжал зубы. Не до них. Лошадь тяжело потащила груженные сани, пока, наконец, не ступила на твердую дорогу. Михаил нетерпеливо хлестнул ее вожжей и в тот же момент почувствовал, что, вспотев после работы, постепенно начинает замерзать. «Скорей бы доехать!» - с нехорошей тревогой подумал он и уткнулся головой в сено. Ветер усиливался.

Нескончаемо тянулось время. Изредка Михаил поднимал голову и смотрел на густо облепленную снегом лошадь. Потом его мысли неудержимо унеслись к дому. Он необыкновенно ярко представил себе теплую комнату, родные голоса детей и жены. Вот он сидит у гудящей печки, и обволакивающий жар приятно проникает в него, добирается до каждой клеточки усталого тела. Вскипел чайник, и он словно воочию видит, как Галина наливает ему в любимую чашку густой ароматный чай. Напиток обжигает горло и разливается внутри успокаивающей истомой. Как тепло! В мягкой кровати тело совсем расслабляется, и он неудержимо засыпает, засыпает...

По ночной дороге одинокая лошадь везет сено. В тумане нахлынувших грез Михаил даже не уловил, как незаметно уснул, нечаянно навалившись на правую сторону вожжей. Волей случая это как раз произошло на том месте, где находилось ответвление дороги в сторону села Восяхово. Всегда послушная своему хозяину лошадь, почувствовав натянутую вожжу, безро-

потно свернула вправо и продолжала идти, но уже не к дому. Потом вожжа ослабла.

Буран бушевал. Михаил беспомощно спал, обезоружив себя перед стихией, пронизывающий холод властно сковывал его в своих беспощадных тисках. А лошадь все шла и шла, пока чувствовала под ногами заметенную дорогу. Вдруг она по грудь провалилась в рыхлый снег и натужно рванулась вперед.

От толчка безвольное заочеченелое тело шумно соскользнуло с сена и тяжело рухнуло в сугроб. Животное, почувствовав отсутствие хозяина, выбралось обратно на твердый участок и в нерешительности остановилось.

Поблизости не переставая, шумел и трещал под напором ветра угрюмый невидимый лес, а по излучине Горной Оби бесконечно змеились хвостатые поземки, и хороводили снежные вихри, бесследно заматавая неподвижное остывающее тело Михаила.

## АЛЛАХ ВЕЛИК!

В основе рассказа лежит действительная история, рассказанная беженкой по имени Карима.

Она была беженкой. В конце весны с мужем и четырьмя детьми эта женщина добралась до одного из сибирских городов, где теперь каждый день и побиралась, усаживаясь на твердый асфальт на какой-нибудь центральной улице.

Одежда на ней была не бог весть какая: старая, выцветшая, пыльная, но однако не утратившая от этого своего национального колорита. Лицо женщины, по обычаю, было закрыто платком до самых глаз, которые мутно-карими бусинами глядели на проходящих мимо людей с надеждой и отчаянием. Но больше всего в них было боли и безмерной усталости, синюшными кругами легшей вокруг впалых глазниц. Она не была нахальной,





как многие другие беженцы. Плохо это было или хорошо при ее положении — трудно судить. Не могла она так.

Всегда молчаливо сидела женщина. С опущенной головой монотонно покачивалась из стороны в сторону и ждала милости от людей, несмело протянув вперед огрубелую, заскорузлую от неизбывных тягот руку. На мгновение радовалась и долго с благодарностью кланялась вслед, если к ее ногам шелестела мятая «тройка» или «десятка». Большое счастье — сотенная бумажка. Подбирала ее и, неслышно вздохнув, еще ниже опускала голову. За день удавалось насобирать не больше тысячи. Обычно — меньше. Какие же это были деньги для большой семьи. Ближе к вечеру женщина поднималась, кое-как разминала затекшие от долгого сидения ноги и шла раздобыть что-нибудь съестное для детей и мужа, который каждый день мыкался в поисках случайной работы (не побираться же мужику), но бывало, что в течение нескольких дней не находил ее.

Ей было сорок шесть лет. Звали женщину Салима.

В один из дней Салима сидела на противоположной от базарной площади стороне улицы с той же застывшей безысходностью в глазах, поджав под себя ноги в каких-то жалких обутках. Перед ней к обочине дороги плавно подрулил и мягко, почти бесшумно остановился кофейного цвета «Форд» с затемненными стеклами.

— По-моему, как раз то, что мне нужно, — сказал один из двух сидящих в автомобиле парней. Молодой, пышущий здоровьем, в престижном костюмчике оливкового цвета.

— Да брось! Далась тебе эта затея, — ответил другой, не менее элегантный, который сидел за рулем.

— Ну, не-ет! Знаешь, бывает такое: вроде бы все о'кей, всем доволен до пуза, но это-то и сосет душу. Хочется чего-то такого — нмма! Необычного или, еще лучше, запретного. Понимаешь?

— И охота тебе мараться?! Не брезгуешь?

— Дур-рак! Именно это и разжигает интерес! А эта беженка — как раз, что надо: проста и немолода. Надоели уже молодухи!

— Да ей же лет сорок, если не сорок пять! Очумел? Было бы лет до тридцати-тридцати двух, тогда еще можно понять, но тут...

— Что ты понимаешь! С сорок пять — баба ягодка опять. Ты не гляди, что грязная да оборванная, она в сто раз чище всех наших городских потаскушек, с которыми без резинки не перепихнешься. У нее ведь никого, кроме мужа, не было. Им Аллах не велит. Ха-ха-ха-ха!

— Интере-есно! А с тобой, значит, Аллах разрешает? Мол, на здоровье! Ну-ну. Тогда валяй! Аллах с тобой! Только ты ведь необрезанный, на сколько я знаю, и свинину любитель поест, а? Х-хэ-э-э-э!

— Да пошел ты!.. Не в этом дело. Просто я хочу ее! До зуда! Вот такую: чумазую, замызганную, нищую. Заставить ее силой, унижить. Секешь — какой это бесподобный кайф?! Чувствовать свое безграничное превосходство, отделявая ее, видеть вынужденную бабью покорность! А!

— Не думал я, что у тебя такой дерьмовый вкус. Ты случайно не извращенец, а?

— Чё-о-о-о? Сам ты... Корчишь из себя ангела непорочного.

— Х-хэ-э-э-э!

— Только посмотри, какая она смугленькая! А какие глаза! Не-ет! Уж с ней-то я испытаю такое, чего еще ни разу ни с кем не испытывал! Моя дубинка уже сейчас на стреме!

— Хм. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, с-сударь!

— Вот увидишь! Я ее трахну! Как миленькую! В обе дырочки!

— Тьфу, говномешалка!

— Заткнись!

Он вышел из машины, оправил пиджак и небрежным шагом направился к Салиме. Та несмело поглядела на него. А парень, не дошел двух шагов, лениво присел на корточки и насколько мог пренебрежительно бросил:

— Эй, беженка, тысячу рублей хочешь?

Салима испуганно молчала. «Что надо этому человеку? Почему он хочет дать такую большую сумму?»

— Молчишь? Хм... А две тысячи?

Салима нерешительно произнесла:

— Зачем смеетесь надо мной? Что вы хотите?

— Поиметь тебя. Сегодня, — и улыбаясь, парень сделал пояснительный жест руками.

Салима замотала головой и, как от чумного, отползла от него.

— Ну, ладно, ладно! Пять тысяч. Слышишь? Как с куста!

— Аллах с тобой! Иди откуда пришел!

Молодого человека эта фраза задела. У него еще никогда не было осечек и неудач с женщинами, а тут какая-то беженка отмахивается от него, как от надоедливого глупого пса. Он внутренне обозлился и решил действовать до конца.

— Десять тысяч, сука! Десять! Ты таких денег даже не видела! Видишь, как я хочу тебя! Так что не выводи меня из терпения, дрянь!

Салима убито молчала. А он, видя ее смятение, продолжал словесно излагаться:

— Ну кого ты тут из себя корчишь, а? Правверную? Боишься, что муж узнает? Дура! Не узнает. Всего один раз, слышишь ты? Я тебе понравлюсь. Не думаю, что твой муж лучше меня. А у тебя будет прекрасная возможность сравнить!

— Ты мне в сыны годишься, — едва выдавила Салима, не зная куда деться от насевшего красавца.

Он помолчал немного, бесстыдно разглядывая ее, затем насмешливо продолжил:

— И что? Это даже интереснее... мамочка, — и с исступлением в голосе процедил:

— Двадцать тысяч!

Потом ухватил Салиму за подбородок и рывком поднял ее лицо вверх.

— Смотри мне в глаза, сволочь! Двадцать тысяч за твой вонючий передок! Я сегодня щедрый. Ну, пошли!

В это время из автомобиля вышел второй парень.

— Ну что?

— Капризничает, т-тварь!

— Х-хэ-э-э-э! Девственница, что ли?

— Да какая, мать твою, девственница! Старая растрханная лошадь!

— М-м. Я тут что подумал: если я буду иметь свой куш лакомства, то готов вложить долю. Поделишься?

— Ты глянь! Быстро же твои вкусы изменились!

— Ну, ладно. Считай, что ты меня заинтриговал соей похотливой «целеустремленностью». Ну так что?

— Пожалуйста. Я не жадный. Но не думай, что получишь слатенькое вперед меня.

— Не бойсь, я не привереда. Ты сколько давал?

— Двадцать.

— Сбрэндил?! За эту развалюху!

— Я тебя не принуждаю.

— Ладно. Значит, плюс я — десять.

До Салимы донеслось:

— Ты слышала? Эй! Тридцать тысяч за твою мохнатую дряхлую киску!

Салима с горечью закрыла глаза. «Какие деньги! Целый месячный заработок без уличных мытарств! Можно будет купить что-нибудь новое детям. Но что скажет муж?! Может, он не узнает? Может быть. Но простит ли Аллах? О Аллах, почему ты не защитил меня сейчас! За что так?.. Но какие деньги!..»

«Сорок тысяч» — услышалось Салиме как сквозь сон, и в руке захрустели деньги. Она вздрогнула, вяло встала и на ватных ногах, ничего не видя перед собой, пошла к сверкающему «Форду», влекомая за руки теми, кто только что купил ее. В кулаке у Салимы крепко были зажаты четыре новые десятитысячные купюры, а в воспаленных

глазах стояли слезы отчаяния, стыда и полной незащищенности.

Впервые она была женщиной, которую купили за деньги ради забавы.

«Форд» с шиком, неторопливо ехал по улицам города. В просторном салоне было уютно, пахло дорогими сигаретами. Из динамика магнитофона приглушенно доносился проникновенный голос Джо Дассена. Но до Салимы неясно доходило все происходящее. В голове затылками толчками шумела обжигающая мозг кровь: «Что со мной будет?.. Аллах велик, он накажет! Но какие деньги!..».

Вскоре автомобиль выехал на окраину города и минут через десять врезался в глубину соснового леса, свернув на грунтовую дорогу. Остановился. Оба парня вышли из машины. Первый открыл дверку беженке.

— Вытряхивайся, мадам! Приехали.

Салима обречено вышла, бессмысленно поглядела вниз. Парень грубо схватил ее за руку, развернул спиной и властно толкнул на автомобиль. Та покорно навалилась туловищем на холодную гладкую крышку багажника.

— Хм, а ты послушная! Это мне нравится. Ну, давай, задирай свои подрясники! — и он сам бесцеремонно ухватил в кулак и закинул ей цветастые юбки на спину.

— О-о-о, да ты глянь, она даже без трусиков! Будто заранее приготовилась! Чисто как шлюха! — воскликнул он и шлепнул женщину по ягодицам.

Салима беззвучно плакала, вздрагивала расставленными ногами. А молодой человек звонко расстегнул ширинку брюк и окликнул второго:

— Гляди сюда! Сейчас всажу по рукоятку!

— Не гордись! У меня шляпа не хуже твоей! Не одну целку выскоблила!

Первый тем временем с издевкой в голосе окрикнул Салиму?

— Эй, ты, расслабься! Зря я, что ли, буду тебе деньги платить?! Во-от! Вот так! Та-ак! Умница! О-о-о, тепло-о-о!

— Слушай, сударь, ты бы хоть резинку натянул. Забыл?

— Да на фиг надо! Весь кайф сломаю!

— А вдруг забеременеет?

— И что? У нее, наверное, уже полдюжины таких есть. Какая разница: одним больше — одним меньше. Мужу подарочек будет!.. А-ах, как классно!.. У нее там, как намаслено! Слушай, а как я со стороны?

— Мерин. Племенной! Х-хэ-э-э-э!

— Да пошел ты! Погляжу я на тебя... Уах, уах! Все! Я кончаю! А-а-а!

Первый удовлетворенно отвалил в сторону, застегнул ширинку. Парни поменялись местами. Процедура повторилась.

Но Салима уже ничего не чувствовала, находясь в горестном забытии. Пришла в себя, только когда стали подъезжать к городу. Из «Форда» ее высадили там же, где два часа назад Салима впервые увидела этих парней.

Домой пришла поздно. На душе сгустился гнетущий страх. Что сказать мужу? Обмануть? Но можно ли обмануть Аллаха? Он все видит. От безысходности Салиме было еще горше.

Она вошла в деревянный одноэтажный, выселенный под снос дом, где ютилась ее семья последние три недели, и сразу увидела мужа. Дети уже спали.

— Что так поздно? Сколько насобирала сегодня? — сразу же строго спросил он на своем языке.

Салима молча, робко положила перед ним хрустящие бумажки, а сама пугливо отошла и села в углу на деревянный ящик.

— Салима, ты их что, украла? Откуда они у тебя, отвечай!

Салима была уже не в силах сдерживать накопившуюся боль и обиду в себе, вздрогнула от сурового окрика мужа, громко охнула, уронила голову на колени и зарыдала. Всхлипывая и

часто отирая рукавом горячие слезы, она сбивчиво рассказала мужу о том, что случилось с ней сегодня днем.

Поняв смысл, он не дослушал до конца, мгновенно изменился в лице, почернел от ярости, задрожал и накинулся на нее.

Салима не сопротивлялась. Знала крутой характер мужа. А он бил и бил ее, наотмашь, куда попало, а когда обессиленная Салима повалилась с шаткого ящика на пол, стал пинать ногами в живот, пока Салима не замолчала в беспомощности.

Дети уже давно проснулись от ругани отца и рыданий матери. Испуганно и беззвучно лежали в комнате за дверью и не смели даже пикнуть. Они боялись отца. А тот грубо и брезгливо отпихнул Салиму, ушел в другой угол, сел на колени лицом в сторону Мекки и стал молиться.

Долго с ожесточением он молился своему богу, возносил хваления. То рыдал, то ругался, то клялся непременно расквитаться за свою поруганную жену, то снова страстно о чем-то молил, непрестанно отбивая поклоны.

Постепенно его шумное возбужденное дыхание успокоилось, он тяжело свесил голову со включенными волосами на грудь и затих, едва бормоча что-то себе под самый нос. Потом замолчал совсем. Стал думать: как ему быть.

Убить? Прогнать Салиму за неверность? Он, конечно, проживет, но — дети! Их четверо, куда он их денет? Но что тогда? Простить измену? Простить позор?.. Как же быть? Как быть?

«Подумать только: моя жена, мусульманка, при живом муже продалась за деньги. Как последняя проститутка! Но какие деньги! Будь они прокляты! Ради детей!.. Ради меня... О Аллах, помоги мне!».

Он устало поднялся. С ненавистью, но в то же время с жалостью и еще каким-то неизъяснимым чувством, медленно, неуверенным шагом подошел к Салиме. Та уже опаматовалась от побоев, но все еще лежала на полу. Когда муж приблизился, она открыла опухшие от слез глаза, тихо и хрипло спросила с полной безнадежностью:



— Что сказал тебе Аллах?.. Я должна умереть?.. За что?

Муж поглядел на нее сверху вниз, потом отвел глаза в сторону и дрожащими губами после долгой паузы, как в пустоту проговорил:

— Аллах велик! Он простил тебя и мне приказал простить. Расти детей, Салима. И не изменяй мне больше. Аллах два раза не прощает.

## БАБА ГАНЯ

Если бы не ремонт автомобильного моста через Туру, из-за которого весь городской транспорт уже больше года попадает с одного берега на другой только в объезд, то моя встреча с жизнестойкой бабушкой Ганей вряд ли когда-нибудь произошла бы.

Был конец марта. Из заречной части города я ехал на работу. Сижу, на коленях две сумки. В одной книги да общая тетрадь, в другой изредка побрякивают от встряски банки с едой. Это заботливая супруга снабдила на суточное дежурство. Сторожем я работаю в Доме писателей. Что поделаешь - студент, да еще семейный. На одну стипендию никак сыт не будешь. Автобус тормозит у остановки «Луговая». Пока зима, здесь выхожу. Отсюда узкой улочкой в сторону закрытого на ремонт моста, затем через Туру по заснеженному льду, а там и старая деревянная лестница в сто десять ступеней на высокий берег реки. Поднялся, и считай, что уже на работе. Вон она, четырехскатная крыша. Удобно. А лед уйдет - опять вкруговую добираться.

Мартовский лед — усталый, просевший. Шагаешь по нему, то тут, то там потрескивает-постанывает. Зима нынче теплая была, самое большее недельки две до ледохода осталось. Наверно, последний раз через Туру иду. Страшновато уже.

Вот и первые ступеньки жалостливо поскрипывают под ногами, подрагивают хлипкие перила. Сколько ж лет этой лестни-

це? Самое малое — тридцать. Девять пролетов разной длины и ни одного целого. Там ступеней нет, там перила обломались. Не идешь, а скачешь, как заяц, через прогнившие доски. Только под ноги и гляди, на другое не засматривайся. Преодолел я так половину лестницы, вдруг слышу позади слабый надтреснутый голос, и вроде как меня окликают; —Внучек!

Обернулся. Смотрит на меня снизу вверх какая-то древняя старушка. В руке потрепанная авоська с оторванной ручкой, за спиной вдобавок сетка, не видать с чем. Пальтишко на ней не бог весть какое. Я, наверно, еще с букварем в школу ходил, когда оно было куплено. Глаза глядят доверчиво и устало.

—Что, бабуля?— с невольным участием в голосе спросил я.

—Внучек, — так же хриловато повторила она.— Помоги мне до верху добраться. Из сил выбилась.

—Конечно, помогу.

Я осторожно спустился к началу лестничного пролета.

—Давайте вашу сумку. Да за руку крепче держитесь. Тут и вдвоем свалиться—дело нехитрое.

За мою ладонь, словно боясь потерять единственную опору, неуклюже схватились ее иссохшие пальцы. Почти невесомая рука старушки немощно подрагивала.

—Позавчерась ишло только одной ступеньки не было, а сёдне уж и вторую проломили. Вон-де лежит,— сокрушенно выговорила она и слабо кивнула в сторону откоса реки.— Через одну-то ишло мало-мальски карабкалась, а через две-то уж нога не шагает.

Пока поднимались, я увидел, что в сетке за спиной у бабушки капуста, четыре кочана. Правда, сильно нетоварного вида. Удивился такой неудачной покупке.

—Что-то, бабуля, капусту вы беда неприглядную купили. Где вас так обманули?

—И-и-и, кабы купить. Она вить, внучек, дорогушая шибко. Где мне? С моей пенсией в магазин сходишь — все продукты в одной сумке уместятся, если окромя хлеба ишло что-то брать... Капуста-то, вишь, мерзлая, с берега. Там с самой осени целая баржа ее стоит. Всю зиму кто хошь брал. И на машинах даже приезжали.

—Надо же. И не запрещает никто?

—Так, наверно, нет, коли берут. Среди бела дня. Уж почти всю баржу вычистили. Я и сама зимой брала. Никаких сторожов не было. Пусто. Не знаю, почему так. А капуста хорошая, мерзлая только. Но в щи-то все равно сгодится.

—Да-а, вот я-то не знал, рюкзачок бы не лишним был.

—Так сходи потом. Ишшо можно выбрать.

—Ладно, наведаюсь. Ну, вот и конец нашим «Альпам». Старушка выпрямилась.

—Дай бог тебе здоровья! Не оставил бабушку. Так бы и застряла я там одна-то.

—А вам дальше куда? Может, по пути? Я пока что сумку понесу.

—Ро-одненький! — сердечно залепетала она. — Добрый ты... Мне-то хоть куды по пути будет, — продолжила она, когда мы пошли. — В любую сторону. Моя работа не хитрая.

—Ой, неужели работаете еще? Где? — с сомнением воскликнул я. — Вроде уж годы не те.

—Да, конечно. Какая моя работа! Каждый божий день по городу хожу, бутылки подбираю да сдаю. Много ли, мало найду — все ж к пенсии прибавка. Бывает, весь день по улицам шаркаюсь, в каждую урну заглядываю. Вечером приплетусь — разогнуться не могу, всю спину ломит, ноги стоймя не держут. Вот так и живу. Слава богу, шибко не голодую, — закончила она и прокашлялась.

—Да-а, стойкая вы бабушка. Не все таким жизнелюбием да терпением могут похвастать. Это хорошо, что мы встретились. Сейчас на мою работу зайдем. У нас во дворе с конца осени бутылки копятся. Наберете, вам по городу не надо будет ходить. Пойдемте?

—Ой, внучек, и благодарить не знаю как! Пойдем, конечно. Вот радость-то где!

На том, может, и завершилась бы эта встреча с неожиданной знакомой. Набрала бы бабушка бутылок в сумку, поблаго-

дарила еще раз и ушла. И даже имя ее осталось бы загадкой.

Но старость есть старость. Прихватило вдруг больное старушечье сердце, прямо на крылечке.

—Ох, сильно как кольнуло. Аж в глазах тёмно стало, — успела выдохнуть она и ухватилась за мою руку. — Ох, дыхоты не дает! Ох! Как шильем тычет.

—Ну вот, бабушка, опять без меня никуда, — попытался сказать я бодрым голосом после того, как сам на мгновение растерялся. — Давайте я вас потихоньку в свою сторожку отведу. Сядете, отдышитесь, а там посмотрим, как быть.

С горем пополам добрались. Гляжу, бабуля уже ртом воздух ловит, ноги одна за другую заплетаются. Я ее скорей на стул усадил поудобнее и со всех ног к соседке, тете Томе, может, есть что-нибудь сердечное.

Вот и старая скособоченная дверь ее дома. Стучусь.

—Сейчас, иду-у, — доносится из глубины дома приглушенный женский голос.

Тетя Тома — добрейшей души человек! Правда, бывает, пьет сильно, но чужой беде всегда помочь старается. Помню, однажды, когда я на дежурство ехал, у меня в автобусной давке банки с едой разбились. Тетя Тома только узнала, сразу отменным борщом накормила. Да и так: то картошки с луком для супа принесет, то карасей на уху, то беляшей горячих, то сала. При этом частенько приговаривает:

—Ты только, самое главное, учись, брат. Если учиться бросишь, я тебе этого ни-ко-гда не прощу.

Вот и сейчас, как поняла, в чем дело, сразу зашла в дом и, минуты не прошло, вынесла на ладони четыре таблетки валидола.

—Ой, тетя Тома, зачем столько? Одной хватит.

—Держи-держи. Пусть с собой про запас возьмет. Мало ли что. С сердцем шутить нельзя.

—Спасибо большое!

Прибежал обратно в сторожку. Бабуля моя уже руки к сердцу прижала, охает тихо.

—Ну, куда вы теперь в таком состоянии, — говорю я. — Прилягте пока на кровать. Вот лекарство подействует, тогда и легче станет.

Старушка только молча кивнула.

Помог ей лечь, обувь снял, а у самого в голове дурные мысли так и крутятся. Как бы еще хуже не сделалось! Вдруг умрет? Что тогда? Сообщить ведь придется. «Скорая» или еще кто придет, спросят: «родственница?» — «Нет». — «Как зовут покойную?» — «Не знаю». — «А как у вас здесь оказалась?» Что я скажу? Так, мимо шла? Вот незадача.

Сижу, прислушиваюсь. Пока представлял в уме возможные последствия, бабушка все это время едва слышно постанывала.. Я уже немного успокоился, как вдруг стоны прекратились. «Господи! Неужели — все, преставилась!» Вскочил, наклонился над ней — не-ет, дышит. Уснула, христовая. С меня будто камень свалился. Ну пусть спит, сон тоже лечит. А сам сел книгу читать.

Вот уже час прошел, другой, третий. Обед наступил — бабушка все спит. А у меня желудок есть стал просить. Если, думаю, на цыпочках да не шуметь, то, наверно, получится суп разогреть. А повезет, так и, обедая, не потревожу.

Легонько поднялся и пошел на носочках к сумке с банками. Но куда там! У старых людей сон чуткий. Едва скрипнула подомной половица, и уже зашевелилась бабуля, заворочалась. Оторвала голову от подушки и стала медленно подниматься с кровати. Села и распрямилась.

—Как спалось? Как сердце? — участливо спросил я, водружая на плитку кастрюлю с супом.

Моя гостья тщательно протерла глаза и смущенно улыбнулась. Потом рассмеялась:

—Хи, вот и бабушка! Храпелка старая! Сама не заметила, как уснула. Давно-о уж днем-то не спала. Вот вить как. И сердцу-то как хорошо, ровно и не болело вовсе.

—Вот и замечательно! Сейчас пообедаем вместе, уже все греется.

—А можно? — робко и недоверчиво спросила старушка.

—А почему нельзя? — искренне удивился я. — Конечно, можно.

—Добрый ты, — почти нараспев проговорила она.

Мне в ответ оставалось только улыбнуться.

—Ты здесь сторожем?

—Да.

—Надо же.

—А что?

—Сторожем, а стол, как у дилектора какого. И полочки есть, и стульев мягких с дюжину будет. Люстрочка даже висит.

—Так ведь это не мое все, я только охраняю.

—А-а. А все равно, хорошо так работать.

Я снова улыбнулся.

—Вы лучше скажите, как вас зовут, а то до сих пор не познакомились. Мое имя — Саша.

—А-а, Саша. Хорошее имя, христианское. А меня бабой Ганей зовут. Агафья, значит.

—Старинное имя. Сейчас таких не дают.

—Ну так мне его ишшо когда дали. В одиннадцатом году. Я вить уж шибко старая. Восимисят четыре годочка мне.

—Ну, что ж, баба Ганя, садитесь суп отведать. Вот вам ложка, хлеб. Не стесняйтесь.

Баба Ганя подседа к столу, взяла ложку, несколько раз зачерпнула и съела. Потом подняла глаза и спросила:

—Суп-то сам, что ль, готовил?

—Нет. Светланка, жена моя.

—Женатый, значит.

—Да.

—А я гляжу, колечко на пальце, да, думаю, молодой ишшо, наверно, просто так носит, модничает.

—Не-ет. Два года вместе живем. И в церкви венчались.

—Вот молодцы какие. Жене поклон передай. Суп шибко вкусный, сы-ытный. Дай ей бог здоровья. Живите долго.

—Спасибо. Вы-то как живете? С кем?

—А я, Саша, одна живу. Уж пятнадцать годочков одна.

—Что ж так? Ни детей, ни внуков нет?

Баба Ганя как раз доела суп, облизала и отложила в сторону ложку, вздохнула и начала говорить:

—Внуков-то, угадал, нет, да и не будет уж. А дети-то вот были. От первого мужа. Федором звали. Я с ним как познакомилась? Первомай был. Черемуха как раз цвела. Я и надумала к празднику букетик наломать. Вышла в лесок неподалеку, выбрала деревце понаряднее. Только первую веточку обломил, вдруг за спиной-то и слышу:

— Это зачем же вы деревцо раните, красоту губите?

А я в девках-то не пуглива была, оглядываюсь: парень молодой, рослый, с усиками, я ему смело так отвечаю:

— А какой же праздник без цветов!

Гляжу, он улыбается, а сам все в глаза мне смотрит и говорит:

— Оно так, конечно. Но если, мол, все к празднику так делать будут, через десять лет ни одной черемухи не останется.

А я как будто обиделась на него и говорю:

— Если умный такой, взял бы и настоящих цветов подарил! Он смеется.

— Полюблю, — говорит, — так и подарю. Не жалко. Пойдемте, я вам лучше сломанную черемуху покажу, вчерашней грозой выворотило. Там и наломаете, а то все равно засохнет.

А я что, взяла да и пошла. Так вот и познакомились с ним. Через год свадьба была. Шибко его полюбила! Прямо всем сердцем прикипела!

— И сколько ж у вас, баба Ганя, детей от него было?

Ее засиявшие было от светлых воспоминаний глаза вдруг померкли.

— Три раза носила... Да только третьего вырастила. С тридцать седьмого года который. Второй квелый был, до года не дожил, помер. А первый-то и говорить страшно: сразу мертвый родился. Как уж я горевала тогда! По первенцу-то! Страх бо-

жий! Мальчик был. В больнице-то прямо при врачах разревелись, насилу успокоили.

А через три месяца в тот же год мама в деревне от тифа скончалась. Отец-то раньше ишшо, в гражданскую погиб. Я и помнила-то его смутно. Ох, было горя в моей жизни. Аж сейчас реветь хочется. Потом, только вроде все направилося, война началась с Гитлером. Будь она проклята! Володьке пять лет сполнилось — с фронту похоронка пришла на Федора. Вот с того дня и сидеть начала, с тридцати-то лет.

—Да уж, как-то все на вас сразу свалилось. Не позавидуешь. И сына сами воспитывали.

—Десять лет поднимала. Все одна да одна. Мужиков-то сколько в войну убило. Не я одна вдовой осталась.

А тут Сталин умер, аминистия была заключенным. Вот один-то из таких и привязался ко мне. Я подумала-подумала, не королевича же до смерти ждать. Согласилась, в общем. Он ничего, хорошим мужиком оказался. Сидел-то не как бандит. Начальником цеха был, да авария случилась, вот его за недогляд и упекли. Расписались мы с ним, а долго-то и не прожили. Меньше, чем с Федором. Через пять лет умер. От чахотки. Видать, на зоне ишшо заболел. А мог бы и дальше жить, полвека жизнь, что ли.

Опять одна с Володькой осталась. Мне сорок шесть, ему двадцать один. Уже после армии пришел. Там шофером был и на гражданке в таксопарк устроился.

—Что-то вы путаете, баба Ганя. В пятьдесят восьмом вроде еще не было в Тюмени таксопарка.

—Так мы до семисят пятого в Свердловске жили, потом уж сюда переехали. Володька захотел. На новое место, говорит. Чудной он у меня, непутевый.

—Почему вдруг непутевый?

—Да вот так. До лысины дожил, а так ни разу и не женился, внучат мне не оставил. Мне, говорит, мать, и так хорошо. Ох! Живой бы если был, так уж сам дедушкой стал.

—Так и Володя ваш умер?



—Умер, Сашуня, умер. В восьмидесятом ишшо.

—Постойте, так это... господи, в сорок три года выходит! Отчего?

—Врачи сказали, что сердце остановилось. Не знаю. Он вить и не жаловался никогда. Может, скрывал? Володька шибко меня жалел.

Я в тот день утром подошла к нему, чтобы на смену разбудить, а он холодню-у-ушенек лежит, лицо белое-белое. Как сама тогда не умерла — не знаю! Оно вить шибко горько — ребенка своего пережить. Ни-ко-му не пожелаю! А вот живу. Уж питнацать лет. На могилку к нему иногда езжу, сама пла-ачу, разговариваю, скоро, мол, тоже в землю лягу.

—Как знать, может, еще годика три-четыре поживете.

—Бог даст — поживу. Чего ж не пожить-то. А так уж все на похороны приговорила. Отдельно лежит. Бельишко там, платье, чулки ненадеванные. Ситцу припасла, свечи с ладаном да ленты черные. Не стыдно чтоб умереть-то было. Я бы и на крест, может, ишшо наскребла, поднатужилась. Он, говорят, пока не шибко дорогой. Сорок тысяч. Так опять как нести-то его, громаду такую! А машину заказывать накладно.

Она помолчала.

—Господь-то наш, знаю, нес на себе, так он хоть молодой был. И то тяжко. А я уж и без того через всю жизнь крест несу, потяжелше березового будет.

Ишшо вот саван да иконку купить надо... Ну, ничего, через месяц Пасха, к церкви буду ходить, милостыню просить. Бутилок-то не насдаешься.

—А что ж сейчас к церкви не ходите?

—А что сейчас ходить. Там и без меня калекам едва на хлеб с молоком хватает. Сердобольных-то не так уж и много. Вот пост к концу подходить будет, тогда все в церкву потянутся грехи замаливать, каждый сколько-нибудь да подаст. А пока одна подмога — бутылки да банки. Сейчас вот в «Восход» пойду, сдам их, глядишь, три тысячи прибавилось.

Баба Ганя неторопливо встала со стула.

—Ну, Саша, спасибо тебе. Как в сказке с тобой побывала: напоил, накормил, спать уложил да ишшо и вылечил и про жизнь мою выслушал. Добрый ты человек, дай бог тебе здоровья! И Светлане твоей того же.

—Вам, баба Ганя, спасибо на добром слове.

—Живи долго. Ты меня, Сашуня, теперь только сведи с лестницы на крыльцо, а дальше уж я сама как-нибудь.

Мы, не спеша, спустились с крутых ступенек, и я проводил бабу Ганю до ворот. Она благодарно поклонилась напоследок и медленно побрела к перекрестку. Я стоял и смотрел ей вслед.

Где-то невдалеке густо и зычно ударил соборный колокол, созывая прихожан на вечернюю службу. Я увидел, как баба Ганя остановилась и застыла на месте. А когда величественный звук повторился, поставила сумку на асфальт, выпрямилась и благоговейно перекрестилась. Снова подняла поклажу и, по-старчески передвигая ноги, стала едва заметно удаляться в сторону заходящего солнца.



## ПЕРЛАМУТРОВАЯ РАСЧЕСКА

«...Стоит ли объяснять, что чем старше становится человек, тем сильнее его привязанность к любимым вещам — свидетелям и друзьям его жизни. С каждым прожитым годом человеку дороже то или иное событие и то, что связывает с прошлым, с воспоминаниями. Обычно, это какая-нибудь вещь, пусть даже безделушка. Не правда ли? И уже не он властен над ней, а она над ним. Но человек рад такому рабству. А свободу от этого считает катастрофой, потерей себя. Утешает то, что подобное происходит лишь с возрастом, когда веночек лет уже не столь легок, как в юности. Но неизмеримо труднее приходится тому, у кого привязанность к вещам оказалась врожденной. И к тому же, если такой человек по досадной ошибке считал себя их хозяином».

Из одной статьи.

Все события, которые произошли с Николаем Игнатьичем весной 1995 года, случились из-за того, что в один из понедельников он обнаружил пропажу своей расчески.

Сразу надо сказать, что сам по себе факт потери в данном случае необычен, ибо наш персонаж — человек очень пунктуальный и очень педантичный. Хотя сторонним поверхностным взглядом может показаться, что ничего примечательного в нем нет. Обычный мужчина пятидесяти шести лет (а он на столько и выглядит), работающий рядовым учителем русского языка и литературы в средней школе областного центра. Разве что идеально аккуратен.

Стоп, стоп. Вот тут-то, пожалуй, уже и есть первая зацепка. Изумительная безупречность Николая Игнатьича невольно остановит и заострит ваше внимание, и вы обязательно обернетесь назад, если случайно встретите его на улице с неизменным блестящим портфелем в руке.

В школе он явный образец для подражания. Как для учеников, так и для учителей. Чтобы к чему-то можно было придраться в поведении, в одежде или в исполнении обязанностей — да никогда! Даже смешно хоть раз засомневаться в этом. У Николая Игнатъича всегда все в полном порядке и все, как говорится, по полочкам. Он — визитная карточка школы. Недаром его фото-портрет висит на районной доске почета.

Как же так получилось, что исчезновение расчески повлекло за собой глобальные перемены в размеренной жизни Николая Игнатъича? Тем более (и что самое главное!) сам Николай Игнатъич в пропаже никак не виновен. Сам он расческу потерять не мог никогда.

Чтобы это понять, необходимо побывать в квартире у нашего учителя.

В полумраке коридора мутно блестит монотонно качающийся маятник настенных часов. Без четверти семь. Утро того самого рокового понедельника, круто изменившего всю оставшуюся жизнь Николая Игнатъича.

Вот довольно уютная спальня. За незашторенным окном хорошо виден небольшой балкончик, где на металлической подставке замерли несколько, салатового оттенка, цветочных горшочков с невысокой ухоженной зеленью камнеломки и фиалок. На тахте безмятежно спит еще ничего не ведающий хозяин квартиры. Лицо спокойно, аккуратное дыхание осторожно вздымает и опускает грудь.

Со стороны кухни едва слышно доносятся шаркающие шаги. Розалина Павловна уже встала и готовит супругу обычный завтрак. Она старается все делать очень тихо, но, по обыкновению, это у нее никак не получается. Вот снова упал нож, и слышен невольный вздох досады.

Розалина Павловна полная противоположность Николаю Игнатъичу. Рассеянная, ужасно неловкая, иногда туго соображает, что не всегда приятно мужу. Впрочем, Николай Игнатъич достаточно терпелив и еще никогда в силу привычек поведения

не повышал голоса на свою благоверную. Да это было бы и лишним. Розалина Павловна сама глубоко, искренне переживает каждую допущенную оплошность и всегда извиняется, добавляя при этом, что совершенно недостойна своей половины. Вот такая Розалина Павловна.

— Розочка! — радостно возвещает из спальни Николай Игнатъич, и Розалина Павловна от неожиданности чуть не роняет из рук заварочный чайник. — Я уже проснулся!

— Прекрасно! — дежурной фразой откликается жена.

Минуту спустя Николай Игнатъич в ванной. Тугая струя ударяет в дно раковины, и вот уже слышны частые всплески и бодрое побряхтывание. После умывания наступает очередь побриться. Кстати, бреется он два раза в день, утром и вечером, и весьма тщательно.

Пока совершается традиционный утренний моцион, давайте на минутку заглянем в кабинет Николая Игнатъича.

Застекленная молочного цвета дверь открывается легко и бесшумно. Какая необыкновенная чистота и идеальность! Ни пылинки! Все скрупулезно протерто добросовестной рукой Розалины Павловны. Невольно складывается впечатление, что кабинет Николая Игнатъича, несомненно, есть «святая святых» в этой семье.

Напротив двери окно, уже вымытое после зимы, и письменный стол с пятью выдвижными ящичками. На столе под накладным стеклом расписание уроков и еще несколько листов с нужной информацией. Слева во всю длину стены большой, доставшийся по наследству от отца, вместительный книжный шкаф. Как и на столе, за его дверцами все идеально и упорядоченно: отдельно художественная литература, отдельно методические пособия и журналы, отдельно словари и всевозможные справочники. И на каждой полке с завидным тщанием соблюден алфавитный порядок.

Что еще? В правом углу от окна тумбочка с грампластинками, а на ней не новый, но в хорошем состоянии переносной про-

игрыватель. На правой стене не менее десятка простеньких, выполненных пастелью портретов русских писателей. На полу дорожка, на потолке люстра. Все. Конечно, если быть слишком дотошным, то еще можно заметить белую кружевную салфетку (двухнедельные старания Розалины Павловны) и стоящую на ней сухонькую гипсовую статуэтку Николая Алексеевича Некрасова. Теперь все.

Несомненно, обстановка кабинета — лицо и суть его хозяина. Все, как вы убедились, просто и со вкусом, хоть и несколько необычным для нашего времени. Старомодным что ли.

Вы наверняка обратили внимание, что интерьер сравнительно невелик, но не это самое главное. А вот заметил ли кто-нибудь из вас, что у каждого предмета, который находится в кабинете, свое строгое определенное место? Как будто для каждой вещи с несуетливой заботой и любовью было выбрано и узаконено раз и навсегда единственное расположение. А ведь это важно отметить. И не только в кабинете, а во всем, что связано с жизнью Николая Игнатьича, я не побоюсь повториться, присутствует неизменный закономерный порядок, как в таблице химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева.

А вот и Николай Игнатьич. Умытый, с выбритым до синеватого блеска подбородком. На нем аквамаринового цвета рубашка, изящный галстук и на совесть отутюженный костюм. Но он явно чем-то огорчен, выглядит растерянно и машинально трет виски.

—Розочка, — произносит он беззащитно и с тревогой в голосе. —Роза!

—Ау, — добродушно отзывается супруга.

Николай Игнатьич мгновение молчит, шаря рукой в левом кармане брюк, потом недоуменно выговаривает:

—Ты мою расческу не видела?

—Расческу?

—Да.

—Твою?

—Господи, да! — умоляющим тоном выдавливая из себя Николай Игнатъич и вновь исследует карман, нет ли там дырки. Дырки нет.

—Нет, Коленька, не видела. Иди завтракать.

—Какое завтракать! — обиженно восклицает Николай Игнатъич. — У меня расческа пропала. Я непричесан. Видишь?

Розалина Павловна выходит в коридор. Она удивлена и тоже встревожена. Еще бы, первый раз Николай Игнатъич так возбужден. Желая помочь и успокоить его, она протягивает ему другую расческу.

—На, причешись этой.

—Это не моя, — однозначно отказывается Николай Игнатъич.

—Ну пусть, не беда.

Мгновение он ошарашенно смотрит на непонятливую супругу, потом его словно прорывает:

—Как не беда? Моя расческа пропала — это ерунда? У меня еще никогда ничего не терялось! Понимаешь ты это? Никогда! — возмущенно, но гордо восклицает Николай Игнатъич.

Да, у Николая Игнатъича, действительно, за всю жизнь до сего дня еще ни разу ничего не терялось. Все всегда оказывалось на своем месте в нужный момент. Для расчески это был левый карман брюк. Теперь ее там не было.

Представляете, какой трагедией показалось для такого человека как Николай Игнатъич нарушение установленного им порядка.

—Это просто невероятно! Она не могла потеряться! Это невозможно! — то и дело выкрикивал Николай Игнатъич, суетливо метался по квартире и перебирал руками все вещи, что попадались на глаза, в поисках расчески.

Впервые покой вещей был так грубо нарушен. Только сейчас проявилась еще одна черта в характере Николая Игнатъича: трепетно любя и оберегая все свои вещи, он в то же время требо-

вал от них беспрекословного «послушания». И любая из них должна была быть послушной и верной. Тем более, что сам Николай Игнатъич был исключительно верен им. Многие из находящихся в квартире вещей были уже завидными старожилками. Некоторые служили хозяину около тридцати лет. Например, статуэтка Н.А. Некрасова, которую ему, обладателю красного диплома, торжественно подарили на выпускном вечере в педагогическом институте.

О расческе разговор особый.

Она хоть и была сравнительно более «молода» среди других, всего-то шесть лет, но Николай Игнатъич очень дорожил ею, как памятью о приятном минувшем.

Шесть лет назад ему исполнилось пятьдесят лет, и администрация школы с пышной речью вручила своему самому уважаемому учителю месячную путевку на побережье Крыма.

Ялта, Ливадия, Алушта... Николай Игнатъич первый раз был у моря. И оно глубоко поразило его своим величием, как бывает с каждым, кто впервые очутился на каменистом берегу и слышал мерное дыхание волн прибоя.

Почти перед отъездом обратно Николай Игнатъич, сам не зная для чего, забрел на ялтинский базар. У самых ворот к нему подбежала смуглолицая, с огромными карими глазами девочка-подросток. По виду цыганочка.

— Дяденька, купите сувенир на память!

В ее ладони лежала искусно отделанная перламутром расческа.

— О, какая прелесть! — невольно выдохнул Николай Игнатъич.

— Купите! Недорого! Память будет! — скороговоркой выпалила девочка.

Николай Игнатъич осторожно взял расческу в руки и внимательно рассмотрел. Кропотливая и добросовестная работа. По основанию расчески было мелко и витиевато выгравировано: «На память о Ялте. Лето 1989 года».



— Папа делал? — поинтересовался с улыбкой Николай Игнатъич.

— Нет. Брат.

— Красивая! — Николай Игнатъич восхищенно покачал головой. — Я куплю ее.

По дороге в гостиницу он сразу определил расческе свое место, уверенно положив в левый карман брюк. Несколько раз он вновь вынимал ее, замороженно любовался нежными переливами перламутра и по-доброму улыбался, вспоминая девочку.

За истекшие шесть лет Николай Игнатъич два раза сменил старые брюки на новые, но расческа неизменно продолжала быть в левом кармане. И вот теперь произошло это необъяснимое исчезновение.

Николай Игнатъич обессилено опустился на стул. Учащенное дыхание со свистом выходило из него. Он беспомощно глядел на жену.

— Может, где на работе оставил? — робко предположила Розалина Павловна.

— Не знаю, — безнадежным голосом выдохнул он, медленно поднялся, проковылял к выходу и стал обуваться.

— Ты разве не позавтракаешь? — округлое лицо супруги изумленно вытянулось.

— Нет... Не хочется что-то. Извини, — тоскливо пробормотал Николай Игнатъич, взял портфель, и, не попрощавшись, вышел за дверь. Неуверенно спустился по ступенькам с третьего этажа. Кожаный портфель безвольно болтался в онемелой руке учителя.

Все коллеги по работе сразу заметили внезапную значительную перемену, которая произошла с Николаем Игнатъичем, хотя не сразу уловили, в чем она заключается.

Трагедию учителя усугубила девочка-пятиклассница, которая, спускаясь по лестнице навстречу ему, удивленно и добродушно заметила:

— Николай Игнатъич, что-то вы сегодня не совсем причесанный!

—А?.. — очнулся от печальных дум Николай Игнатьич. — Да, Верочка, не совсем... — и внутренне весь сжался. Словно в бреду, лишь благодаря прошлому опыту зрительной памяти, он нашел свой кабинет и тяжело ступил через невысокий порог. Когда раздался звонок с первого урока, Николай Игнатьич мучительно вздрогнул и вдруг безразлично отметил, что совершенно не помнит, о чем говорил на уроке ученикам и какую пройденную тему необходимо вписать в соответствующую графу классного журнала.

Каждую перемену он подходил то к одному, то к другому учителю и скованно, виновато спрашивал:

—Извините, пожалуйста, вы случайно не видели мою расческу? Перламутровую.

И с каждым разом, получая отрицательный ответ, надежда в нем гасла все больше и больше. Словно привидение, медленно и бесшумно передвигался он по коридорам школы, не слышал за спиной озабоченного шушукания коллег по поводу его необычного состояния и, как во сне, давал положенные уроки. На последнем из них, совершенно непонятно как, поставил «отлично» отъявленному двоечнику.

Это был урок русского языка. Николай Игнатьич вызвал Сомова Сережу к доске, дал карточку, на которой были записаны слова с пропущенными орфограммами, и попросил его выполнить задание на доске. Когда наступило время проверки, Николай Игнатьич невидящим взглядом проскользнул по написанным словам, кивнул в знак одобрения и собственноручно поставил в журнал «пять». Из восемнадцати слов в девяти были допущены грубейшие ошибки, но ни одну из них учитель сегодня не заметил. Поднявшийся в классе гул непонимания и возмущения на секунду вывел Николая Игнатьича из оцепенения.

—Тише, ребята, тише. Не надо шуметь на уроке. Выполняем упражнение двести тридцать четвертое, — и снова забылся.

Перед уходом из школы, он еще раз бессознательно обошел все классы и коридоры, высматривая по углам пропажу.

«Она действительно пропала», — обреченно заключил он про себя и вышел из школы.

Ярко светило майское солнце, белыми облаками казались цветущие яблони, а над головой с жизнерадостной суетой носились ласточки. И сам воздух как будто был насквозь пропитан веселящей бодростью скорого лета. Но сегодня, против обыкновения, это нисколько не радовало Николая Игнатьича, а лишь еще больше утомляло.

Неизвестно, как Николай Игнатьич оказался недалеко от причала. Может быть, подспудно шелест речных волн напомнил ему шум морского прибоя в Крыму. Около двух часов он брел сюда наугад, наудачу, ничего не видя по сторонам и ничего не слыша. Его туфли изрядно запылились, и шнурок на одном из них развязался. Но Николай Игнатьич даже не заметил этого...

Все бы сложилось совершенно иначе, если бы еще утром рассеянная супруга Николая Игнатьича вовремя вспомнила, что накануне вечером, когда она гладила костюм мужу, расческа выпала из кармана брюк, и Розалина Павловна машинально вложила ее в нагрудный кармашек пиджака, даже не запомнив этого.

Вот и крутой спуск к причалу. Ступени стремительно опускаются в тенистый скверик, постепенно сужаясь в своей перспективе. Здание речного вокзальчика практически не видать из-за буйно разросшейся зелени.

Николай Игнатьич отрешенно постоял наверху, потом медленно опустил ногу на первую железную ступень лестницы. Так же неторопливо поставил рядом другую. Попереминался с ноги на ногу и бесцельно запрокинул голову в небо. Навстречу ему стремительно двигались рыхлые облака. Обманутый их движением, он невольно подался вперед, чтобы сделать следующий шаг. Но попавший под подошву шнурок предательски остановил ногу, и, беспомощно взмахнув руками, Николай Игнатьич ринулся в пролет лестницы. Тело глухо ударилось о ступени и

уже безвольно съехало вниз, перевернувшись на спину.

Остекленелый взгляд учителя провожал все так же бегущие за горизонт облака. А рядом, у плеча, преданно лежала и нежно переливалась на полуденном солнце выскользнувшая при падении из нагрудного кармана перламутровая расческа Николая Игнатьича.

## В ГОСТЯХ У НАЙДЫ

*Светлой памяти своего деда Михаила Федоровича и бабушки Юлии Клавдиевны Черкашних посвящаю*

В Мужах зимы лютые, долгие. Приполярье. Сразу за селом укутанная, заметенная частыми буранами тайга. Последние отроги. А дальше, ближе к Салехарду — тундра с редкими чахлыми островками леса. Бескрайняя, оснеженная на долгие семь, а то и восемь месяцев. Тягуче медленно, как капля смолы из обломленной ветки кедра, выдавится из-за горизонта усталое декабрьское солнце, нехотя лизнет верхушки елей за Мужами, и снова мимолетные сумерки да бесконечная ночь.

Не зря говорят, что детская память цепкая, яркая. Все, что связано у Виктора с Мужами, с малолетством, отрочеством, до мелочей помнится. То одно, то другое вдруг всплывет из-за громады дней светлым облачком, добрым эхом откликнется. Постучит в окно ветер с Родины, зашелестит по заиндевелому стеклу сухим, колким снегом и всколыхнет, расцветит полярным сиянием воспоминания в душе, грустные и веселые, но каждое дорого и мило его сердцу. Так и в этот вечер.

Старый дом на две половины, в котором жила Витина семья, и по сей день молчаливо встречает восход солнца да умудренно глядит помутневшими стеклами окон на заречный тальниковый берег Оби. Лишь тихими ночами скупо перешептыва-

ется с двумя вековыми елями, что стоят рядом, у самой дороги, с незапамятных времен.

Этот дом и две ели — молчаливые свидетели Витинового детства, и наверняка помнят все его шалости и приключения. А особенно этот забавный случай.

Сколько ж ему тогда было? Лет пять, не больше. Несмышленный любопытный проказник.

Стояли жуткие Рождественские морозы. Даже старики головами качали, мол, лет двадцать такого не было. Витя третий день сидел дома. «Аленушку» — детский сад закрыли из-за холода. Он сам видел, как шляпки гвоздей на полу толстым слоем инея покрылись.

Пока мама на работе, Витя в первой половине дома, у бабушки с дедушкой. Баба Юля посадит мальчугана рядышком на диван, возьмет в руки азбуку и буквам учит. Сегодня до буквы «пэ» добрались. Бабушка показывает на рисунок и спрашивает:

—Что на этой картинке нарисовано?

—Дерево, — говорит Витя, — срубленное. Баба Юля по-доброму усмехнется и иначе спросит:

—А как называется то, что от срубленного дерева остается?

Внук напряженно моргает и вдруг, вспомнив, счастливо выпаливает:

—Пень!

—Правильно! А теперь послушай, как я говорить буду: п-ень, п-арус, п-апа... Что я голосом выделила?

—Пы.

—Так. Только правильно надо говорить «пэ».

—Пэ!

—Молодец. Это еще одна буква. Запомнил, какая она? На табуретку похожа. Правда?

—Ага.

Баба Юля берет карандаш и что-то пишет на бумаге, аккуратно выводя печатные буквы. Потом протягивает листок.

—Ну-ка, догадайся, что я тут написала? Все буквы в слове тебе уже знакомы.

Он старательно хмурит брови и шевелит губами.

—Пэ-е-лэ-и-кэ-а-н.

—Ну, что получилось? Витя неуверенно говорит:

—Пеликан. А что это?

—Это птица такая, — поясняет баба Юля, — на юге живет.

Тут шумно хлопает тяжелая входная дверь. Внук спрыгивает с дивана и мчится в коридор.

—Деда Миша прише-ол! — возвещает он не то бабушке, не то самому себе.

Дедушка осторожно отстраняет мальчика в сторону и, кряхтя, говорит:

—Погоди-погоди, стрекулист. Застудишься еще от меня. Дай разденусь.

А Вите не терпится, вертится около него, в ладоши хлопает, подпрыгивает.

Деда Миша наоборот серьезный, в милиции работает, но внуку, как и бабушка, благоволит. Вот сейчас разденется, пригладит поседевшие волосы и наклонится к его уху, приобнимет да чмокнет в щеку. А потом все вместе обедать сядут.

После еды опять развлечение. Дед отогреется, наденет валенки, фуфайку, шапку-ушанку, а бабе Юле велит постреленка потеплее одеть. Это они пойдут Найду кормить.

Найда в конуре у поленницы живет. Северная лайка. Конуру ей дедушка сам сколотил. Прочную, просторную, даже с крышей. Будто домик. Над входом брезентовый лоскут прибил, чтобы ветром снег внутрь не намело, на дно ворох сена положил для тепла.

Деда Миша берет кастрюлю с отходами и выходит с внуком во двор. Заслышав стук двери и шаги, Найда сначала высовывает из конуры морду, потом резво выскакивает на притоптанный снег и радостно виляет хвостом. Витя каждый раз с интересом наблюдает, как она жадно, с громким чавканьем ест,

поджав уши и хвост. На холоде у нее мелко-мелко дрожат ноги.

— Деда, а Найде разве не холодно?

Тот в раздумье слегка пожимает плечами.

— Может, и холодно, мороз вон какой.

— А вдруг она замерзнет? — пугается Витя. — Давай ее к нам домой пустим.

— Не бойся, — успокаивает дед. — У нее, видишь, какая шерсть густая. Да и не на снегу ведь спит, в конуре.

— Все равно жалко.

— Не горюй. Ее теперь еще и еда греет. Сытый меньше мерзнет. Пойдем.

Найда уже все съела и, довольная, залезла обратно в домик. Витя садится на корточки и приподнимает брезент. Заглядывает внутрь. Найда лежит тугим калачиком, морду глубоко в шерсть упрятала, только уши торчат. «Наверно, все-таки мерзнет», — думает он и невольно вздыхает.

— Пошли, — окликает дед с крыльца, и мальчик, поднимаясь, семенит в дом.

Старинные семейные часы размеренно и басисто бьют четыре раза. Считать Витю тоже баба Юля научила. Правда, пока только до двадцати. Как пойдут с ней куда-нибудь, она считать просит, чтобы внуку не скучно было просто так идти, а то она сама медленно ходит.

— Иди, — скажет, — вперед, сосчитай, сколько в этом заборе палочек? А ему и радость. Шагает, рукой до каждой палочки дотрагивается. Потом обратно, и кричит на бегу, пока не забыл:

— Двенадцать раз по двадцать и еще восемь!

Бабушка улыбнется и головой кивнет. Дойдут до конца забора, она и скажет:

— Молодец, правильно сосчитал. Я проверила, — и другое сосчитать просит...

В этот час в старом доме уютно и тихо. Баба Юля растопила печь и готовит ужин. Витя предоставлен самому себе.

На улице уже совсем темно, когда приходит мама. Сын ра-

достно бежит ей навстречу. Соскучился. Мама с бабушкой недолго обмениваются новостями, Баба Юля застегивает внуку шубку, и Витя с мамой идут через улицу в другую половину дома.

Мама у Вити в школе работает, учителем, и поэтому почти сразу садится за подготовку конспектов к завтрашним урокам. Хоть и холодно, а самые старшие классы учатся. Витя уже понимает, что подготовить урок — дело непростое, и по-своему помогает маме: старается не мешать. Сядет у заледенелого окошка и оттаивает пальцем дырочку, чтобы на фонари да на звезды смотреть.

Так и в этот день было. Правда, не слишком ему на месте сиделось. Все Найду вспоминал: как она там, на морозе? Не вытерпел, подбежал к маме.

—Мама, можно я пока к бабушке схожу?

—А? — мама задумчиво оторвалась от учебника и записей. —А, сходи, конечно. Давай, я тебя одену.

Со стучащимся сердцем мальчик выскочил за дверь и бегом к конуре Найды. Лоскут приподнял и в проем голову засунул. А там темно — хоть глаз выколи!

—Найда! — негромко позвал Витя. —Ты живая? Где ты тут?

В глубине что-то зашевелилось, и влажный теплый язык лизнул мальчугана по щеке.

—Так ты живая! — обрадовался он, протиснулся в конуру и стал ласково гладить ее по шерсти. Найда еще раз лизнула его в лицо и тихонько заскулила.

—А я думал, ты замерзла. Собачка моя! Хорошая моя! — с жалостью в голосе проговорил Витя и обнял Найду за шею.

В конуре было не холодно. Пахло прелым сеном и еще тем особым запахом, каким пахнут собаки. Витя для удобства прилег и продолжал гладить Найду. Темнота и густой аромат сена, видимо, разморили его, он подтянул под себя ноги и незаметно задремал.

Что произошло дальше, стало известно только потом из рассказов мамы и бабушки.



В семь часов вечера мама закончила писать конспекты и пошла к бабушке с дедушкой.

—Ну, вот и я. За сынулей пришла, — возвестила она с порога. Баба Юля и дед молча переглянулись.

—Он не у тебя разве?

—Нет, — насторожилась мама. — Два часа прошло, как к вам отпросился.

—Господи! — испуганно всплеснула руками бабушка. — Он и не заходил к нам вовсе!

—Как? Совсем?!

—Совсем! — баба Юля в растерянности опустилась на стул. — Где же он?

—Не знаю, — упавшим голосом обронила мама и кинулась к телефону. — Михеевым позвоню, может, к Алешке убежал, заигрался. Господи, в такую погоду! И, главное, не спросясь! К вам, сказал, пойдет. Вот негодный!

Мама вздрагивающей рукой набрала трехзначный номер. Во время недолгого разговора она все больше хмурилась, нервно покусывала губы и от волнения теребила пальцами телефонный провод. Потом растерянно положила трубку.

—Его там нет!

—Боже мой! Витенька! Замерз уж, поди, где! — стала всхлипывать бабушка.

А дед наоборот: сразу весь собрался и говорит:

—Вот как сделаем. Ты, Людмила, всех соседей оббеги, поспрашивай, может быть, видел его кто, а потом обратно. Если никто не знает, я на работу дежурному буду звонить. Только побыстрее давай. А ты, Юля, пока Людмила ходит, своих знакомых обзвони. Чупровых не забудь. Может, Витя Анну или Андрея Михайловича встретил да к ним зашел. Они бы, конечно, позвонили, но вдруг не сообразили, забыли.

Баба Юля сразу к телефону села, а мама бегом по соседям, только калитка хлопнула.

От этого звука Витя и проснулся. И никак понять не может, где он. Слышит, что сопит кто-то. Снял рукавичку, дотронулся

— мягкое, словно волосы. Тут и вспомнил, что в конуре у Найды. Вылез наружу и в дом.

Баба Юля как увидела внука, так и застыла с трубкой в руке. А дед нахмурился, поднялся со стула и строго спрашивает:

— Ты где был, варнак? Откуда в сене весь?

Витя поглядел на себя — и правда, вся шубка и валенки в былинках сена. Испугался, что ругать будут, виновато заговорил, а сам уже хнычет:

— В конуре... У На-а-айды...

— В конуре? — опешил деда Миша. — Какой леший тебя туда понес? Мать с ног сбилась! Ищет по всем Мужам!

— Я ее от моро-оза гре-ел... Я больше не буду...

— Не будет он! Перестань реветь!.. Нет, это ж надо! В конуру залез!.. Не реви! Распустил нюни, мужик!

— Ну, ладно, — вступилась бабушка. — Чего на внука накинуся? Он уж сам перепугался, дрожит вон весь. Нашелся, и слава богу!.. Айда, Витюша, я тебя раздену, и спать пойдешь. Хорошо?

Витя только кивает в ответ головой и трет кулачком глаза. Дед умолкает и лишь недовольно провожает их взглядом. Потом изумленно восклицает:

— Ну на-адо же! В конуру забрался! Тут и с милицией не найдешь!

Баба Юля ведет Витю в комнату, укладывает в постель и поправляет одеяло.

— Спи. Спокойной ночи.

Уже в полудреме Витя услышал, что пришла мама, и затих. Прислушался.

У нее грустный, чуть сдавленный голос.

— Нет... никто не видел... Всех обошла.

— Да дома он, — негромко ответил деда Миша. — Успокойся. Спит уже. Ты только ушла, и он в дверь. Гулеван.

— Да где ж он был столько времени?

Дед, выдерживая паузу, озорливо и смеясь, отвечает:

—Где был! В конуре он был! У Найды! От холода, понимаешь, ее спасал, чтоб не замерзла.

—Ох, горе мне с ним! — устало, но с облегчением выдохнула мама и села.

—Не переживай. Что ж за горе? Хороший парень растет. А то, что глаз за ним нужен, так все мальцы такие. И не то бывает.

Мама согласно улыбнулась.

—Ну, ладно. Пусть у вас спит. Я тоже пойду, а то набегалась по морозу, самой бы под одеяло скорей.

Она еще раз вздохнула, встала, пожелала приятного сна родителям и ушла. А когда легли бабушка с дедушкой, Витя уже спал. И снилась ему Найда.

## ПОБЕГ

До сих пор с неизъяснимым и сложным чувством вспоминаю один эпизод моей жизни, который, как затесь на дереве, пусть и затянется мхом событий, но не исчезнет, останется навсегда.

Мне было тогда шестнадцать лет. Я ушел из дома.

Случилось это так. Старый друг отца пригласил моих родителей на день рождения. А накануне у нас в семье произошла очередная крупная ссора, на этот раз по поводу моего позднего (в одиннадцать часов!) возвращения домой. Она-то и расставила все точки над «и».

С утра я закрылся в своей комнате и упорно молчал. Не откликнулся и тогда, когда родители попросили запереть за ними входную дверь.

После того как они наконец ушли за покупкой подарка, чтобы оттуда сразу пойти на именины, я собрал в дорожную сумку самые необходимые вещи, сунул пакет с галетами, записную книжку (авось пригодится), а из письменного стола достал свой



новенький, полученный два месяца назад, паспорт. Затем порылся на книжной полке, отыскал крапивинскую «Голубятню на желтой поляне» и вынул из нее честно заработанные в школе на уроках труда пятнадцать рублей: «Эх, прощай транзистор!». Подумал-подумал, — взял и книжку.

На минуту меня охватило тогда неизвестно откуда взявшееся волнение, но подавив его в себе, я вышел в коридор, обулся и хлопнул входной дверью.

Во дворе остановился. На площадке мальчишки гоняли мяч, несколько девчонок сидели на скамейке, болтали ногами и играли, похоже, в «глухой» телефон.

«Что дальше? Куда теперь?».

Приглушенно и в то же время зычно из-за дома донесся гудок тепловоза. Как призыв. Я направился к железной дороге. Через пять минут вскарабкался на насыпь и уверенно пошел по ней, уже дышащей в ноги жаром июльского солнца. Дом наш находился на окраине, и я очень скоро вышел за пределы города.

Почему я ушел из дома?

Причин было много, и все они казались неразрешимыми. Неотступно и больше всего мучило и безмерно возмущало то, что родители меня не понимают. «Они просто издеваются надо мной!» — звенело в мозгу. Мало того, что они считали меня маленьким, — нет, они ежечасно стремились внедриться в мою глубоко личную жизнь, внести «законные» коррективы, вылепить из моей души какой-то свой идеал. И не дал бог я в чем-либо отступлю от него! Разумеется, я отступал. Назло. И слишком часто, как им казалось. Не проходило и дня, чтобы я не повздорил то с отцом, то с матерью. Они раздражались, я бунтовал, огрызался, хлопал дверью, пинал стулья.

Чем дальше, тем не выносимее казалась такая жизнь. Идея побега до времени пугала меня. Так тянулись бесконечные дни «поучений и послушаний». И вот наконец, я вырвался из этого круга!

Пригород просто оглушил стрекотом кузнечиков, который прерывался лишь изредка проходящими поездами. Я быстро шел

пружинистым шагом, опьяненный долгожданным чувством свободы, попинывал мелкие камешки и упоительно вдыхал густой пряный запах цветущего разнотравья.

Набежавшая было к полудню одинокая тучка окропила округу рассыпным мелким дождиком, но солнце продолжало светить, золотя шумливые капли. Слепой дождь!

— К счастью! — радостно вырвалось вслух, и я искренне улыбнулся. Впервые за долгое время.

Лишь один раз спустился я с насыпи на пустынном полустанке, присел на траву у колодца и подкрепился галетами, запивая их холодной, до ноющей ломоты в зубах, колодезной водой. Она пахла лесными ягодами. Как оказалось, это я тоже запомнил на всю жизнь.

К десяти часам вечера увидел небольшую, в одно окошко, железнодорожную будку, которая показалась из-за поворота. Таких я встретил уже не одну за время дневного перехода, но в этой что-то привлекло мое внимание.

Ах, вот что! Рядом с домиком стоял будочник в оранжевом жилете и, подбоченясь, с интересом смотрел в мою сторону. В голове мелькнула смелая мысль, что, если будочник добрый, то можно будет попроситься переночевать. А про то, откуда иду, наврать чего-нибудь. Я ускорил шаги и перешел на край насыпи.

Когда подошел ближе, то увидел, что будочником была слегка полная женщина лет тридцати - тридцати пяти с темно-русыми до плеч волосами. Она откровенно разглядывала меня, пока я приближался, и ясно улыбалась.

Пройти мимо, когда тебя так приветливо встречают, было уже неловко. Я повернул к будке.

— Привет, путешественник! — шутливо окликнула она.

Я слегка смутился и ответил:

— Здрасьте.

— Из дома, что ли, сбежал?

Такого вопроса я никак не ожидал и, наверно, густо покраснел. Растерявшись, пролепетал:

— А вы откуда знаете?

— А у тебя на лбу написано! — весело проговорила женщина и рассмеялась.

Ее смех просто обезоруживал. Я тоже с облегчением улыбнулся.

— Ну, проходи, странник. Голодный, наверно, как волк?

— Да нет, у меня галеты...

— Ладно, — перебила она, — знаю я эти галеты. Так и гастрит получить недолго.

Будочница провела мне ладонью по плечу и подтолкнула вперед, к домику.

Я послушно прошел внутрь, сел на кровать. А женщина с привычной сноровкой достала посуду, сковородку, накрытую миской, поставила ее на включенную уже плиту и повернулась ко мне.

— Господи! А запыхался-то как! Сколько же ты шел?

— Весь день.

— Все ноги наверное, сбил?

— Да нет, кроссовки удобные...

— Ладно, стягивай портки, сейчас я ими займусь, — повелительно сказала будочница.

— Да зачем... Да я сам... — начал мямлить я в ответ.

— Я кому сказала — снимай! Будешь тут пыль разводить, — ласково, но и требовательно приказала женщина. Потом немного помолчала и добавила:

— Успеешь еще. Ты ведь теперь — беспризорник. Давай!

Я, смущаясь, стал снимать пыльные джинсы, футболку. Остался в плавках.

— Носки тоже снимай. Завтра в выстиранных пойдешь.

— Да ну зачем же!

— Давай-давай!

Стянул и носки.

— А теперь садись и ешь, — кивнула она в сторону стола и вышла с моей амуницией за дверь.

Я убрал со сковородки миску и обнаружил там жареную картошку с тушенкой. Переглотнул слюну. Как же я жадно тогда ел! Когда женщина вернулась, сковородка была почти пуста. Будочница прошла, поправила у зеркала волосы и села через угол стола от меня. Со светящейся улыбкой смотрела, как я ем.

Было очень хорошо от этой улыбки.

— Наелся? — спросила она, когда я стал шкрябать ложкой по дну сковородки, отдирая поджарку.

— Угу. Спасибо большое!

— Тебя хоть как звать-то?

— Вадим.

— Вадим?!

— Да.

— Надо же.

— А что?

— Мужа у меня тоже Вадимом звали... Вадиком.

— А он что?... Умер?

Женщина долгое мгновение помолчала, потом со вздохом ответила:

— Погиб он... Трагически. Два года назад.

— Как?

— Поездом задавило. Здесь раньше до меня, он работал, теперь я. И живу тут. На мужнином месте. Э-эх... Ладно, хватит о грустном, да и тебе оно ни к чему. Мой-ка ноги да ложись спать. Устал ведь? Да и времени — двенадцатый час.

— Угу. А куда ложиться?

— Вон, кровать сзади тебя.

— Но... она же одна... А как вы?

— А что, вдвоем не поместимся?

— Вдвоем?.. — я чуть не поперхнулся слюной!

— Ишь, как испугался! Да что я, съем тебя, что ли?

— Да нет.

— Ну и вот. Это ли беда! В жизни, сокол мой, и не такое бывает. Ладно, ты ложись, спи, а мне еще один поезд встречать надо.



Когда я вымыл ноги и вернулся, кровать уже была расправлена. Женщина надела рабочий жилет и вышла наружу.

А я забрался под одеяло и с удовольствием потянулся. Повернулся к стене. В домике было тихо, только неизвестно из какого угла раз за разом повторял свою скрипучую гамму сверчок. Прошло минут пятнадцать, прежде чем послышался отдаленный перестук приближающегося поезда. Вот он возвестил о себе гудком и шумно прогромыхал мимо. Снова стало тихо.

Вошла будочница. Бесшумно походила по половицам, думая, что я уже сплю, столь же неслышно разделась, об этом догадался лишь по легкому шороху одежд, и осторожно легла рядом.

— Вадим, ты спишь? — спросила она полусшепотом.

Я внутренне напрягся:

— Нет.

— А я думала — уснул. Притворщик.

Ее голос был мягким и добрым.

— Поезд шумел, — сказал я сдавленным голосом и повернулся на спину.

Напряжение во мне все росло: я впервые был так рядом с женщиной. С волнением ощутил вдруг, что у меня, отчаянно пульсируя и оттягивая плавки, набухает плоть. В голову ударила кровь, я зажмурился.

— Да, поезда шумят.. Но теперь почти до шести утра не будет.

— Это хорошо.

— А тебе сколько лет, Вадик? — неожиданно спросила она.

— Шшесст-надцать. — выдавил я.

— Мужик, — как-то отстраненно, словно не мне, сказала будочница.

Я никак не ответил.

— А ты чего дрожишь? — заботливо проговорила она и повернулась ко мне. — Болен? Простыл?

Я отрицательно мотнул головой.

Тут она передвинула ногу и коленом нечаянно коснулась

моего сильно затвердевшего бугра плавок. На мгновение замерла и испытывающе посмотрела в мои глаза.

— Так вот кто у тебя болен, — проникновенно тихо выговорила женщина. Она, не отрывая от меня взгляда, нашла рукой под одеялом мой, токающий кровью, крепкий отросток и бережно укрыла ладонью.

У меня перехватило дыхание.

— Какой он у тебя! Сильный! Ну, будем лечить, раз болен, — и стала нежно массировать его.

Теплое обволакивающее чувство растеклось внизу живота. Я почти задохался! Происходящее ни в коей мере не шло в сравнение с моими, тайными от родителей, юношескими опытами в ванной.

Женщина привлекла к себе и поцеловала в ухо, шепнув?

— Вадик! Не бойся!

Я уже каким-то образом был без плавок, а ее мягкие быстрые пальцы ласково перебирали яички. И вот воздух с шумом стал выходить из меня, все мышцы предельно напряглись, когда эта волшебница решительно охватила пальцами пышущий жаром, стоящий гриб и стала совершать поступательные движения рукой. Горячая опрокидывающая волна прокатилась по всему телу, и я почувствовал, как тяжелые капли брызнули мне на грудь и живот...

Будочница остановилась, все так же откровенно разглядывая меня, потом спросила:

— Ну, как? Легче?

Я ошеломленно молчал, не в силах сказать ни слова. А моя неожиданная врачевательница полностью откинула одеяло и склонилась над моей обессилено опустившейся плотью. Легонько подула на нее и мягко поцеловала. Затем мерными движениями растерла на груди густые соки, шепча ласковые слова (которых теперь я уже не помню) и поглаживая теплой ладонью в моей промежности.

От нежных прикосновений мой дружок вдруг вновь стал об-

ретать силу. Это не ускользнуло от ее внимания. Она вздохнула и то ли мечтательно, то ли несколько тоскливо проговорила:

— Да, ты уже настоящий мужчина! — и обняла мою голову.  
— Иди же ко мне! Ну!

Я оказался на ее теплом, мерно вздымающемся при дыхании теле. В нос ударил пьянящий, еще мало знакомый запах женщины.

Она неторопливо стянула ночную сорочку с низа живота на грудь и ждала, а я совершенно обалдело лежал сверху и не знал, что делать. Тогда женщина снова по-своему улыбнулась, по-хозяйски взяла мою глупую палочку в руку и бережно вправила в свою промежность. Шепнула:

— Толкнись!

Я толкнулся, и жаркая влага плотно и сладострастно обняла меня со всех сторон.

— Теперь двигай попкой. Вот так. Видишь, как у тебя все хорошо получается! Миленький! Вадик!

Женщина жадно обняла меня и стала ответно двигаться навстречу... Я был опять счастливо ошеломлен! Словно у каждой клеточки тела сегодня был праздник! И все благодаря этой женщине, этой удивительной фее! Доктору моего тела!

Я снова стал неудержимо растворяться в накатывающейся, приятно щекочущей волне, когда моя фея застонала в истоме и еще крепче прижала к себе, нашептывая:

— Ах, Вадик, Вадик, соколик мой! Как хорошо! Как хорошо, милый! Жеребеночек мой!..

...Я лежал и почти не чувствовал тела, словно парил в пространстве легким перышком, а женщина (моя первая женщина, у которой я не знал даже имени!) полулежала, облокотясь на подушку, и благодарно перебирала мои волосы, пока я незаметно для себя не уснул.

Пробудился оттого, что кто-то снова по-доброму ворошил и поглаживал мне волосы. Сначала показалось, что я и не засыпал вовсе, но было, действительно, утро.

Голос будочницы заставил открыть глаза.

— Вставай, Вадик. Уже десять. Пора завтракать.

— Как! Десять часов? Я бы уже столько успел пройти!

— Да не торопись, джинсы твои еще досыхают. Успеешь находиться. И вообще погости денек. Ладно?

— Ладно, — с улыбкой согласился я.

— Вот и хорошо! Давай чай пить.

Я голышом вылез из-под одеяла и, прыгая попеременно на одной ноге, надел плавки.

— Растрясешь драгоценности, — шутливо проговорила будочница.

— Не-е, — рассмеялся я. — Не растрясусь!

— Ну смотри!.. Садись за стол.

Чай пили долго. Время за разговорами прошло незаметно. Наконец мы отставили пустые чашки, а будочница предложила:

— Хочешь, я покажу тебе мои гладиолусы? Они как раз расцвели.

— Давайте, — согласился я.

Женщина сходила на улицу и принесла мне джинсы.

— Надевай. Правда, влажноватые еще, но ничего, на тебе высохнут, ты горячий.

Я улыбнулся. Натянул джинсы и спросил:

— Это далеко, да?

— Нет, близко. Пошли.

В пятидесяти шагах от будки, действительно, красиво пестрел цветник.

— Вот мои дети! — горделиво сказала будочница. — Правда, славные?

— Ага. И все почти разные.

— Со всего белого света, можно сказать, луковицы собирала.

Женщина помолчала, улыбаясь, стала смотреть на цветы.

Над соцветиями медленно кружили мохнатые пчелы и шмели, неуклюже погружались в бутоны за нектаром, отчего те мерно покачивались.

- Зря ты из дома ушел Вадик.  
— Почему? — настороженно спросил я.  
— Потому. Ты хоть думал, что дальше будешь делать?  
— Нет, еще не думал.  
— То-то и оно. Сломает тебя быстро.  
— Не ломает.  
— Всех ломает, Вадик. Уж поверь.  
— Что мне теперь — обратно возвращаться!  
— Да. Так лучше.  
— Вы не знаете, какие у меня родители.  
— Ну они же не волки.  
— Хуже!  
— Ладно, не будем. Ты уже взрослый, самому решать как жить. Пойдем обратно.

Когда мы уже подходили к будке, к ней подъехал красный «Москвич».

Я без труда узнал в нем автомобиль отца. Действительно, из него вышел сильно встревоженный, как я заметил, отец.

Я, как от смерти, отшарахнулся от будочки.

— Зачем?! Зачем вы это сделали?!

— Вадим, — окликнул в это время отец.

Я как будто даже и не слышал его.

— Зачем! Как вы могли! Я вас ненавижу!

Меня захлестнула обида и злость. «Это подло! Подло! Как она могла! После того, что было вчера! Как!»

— Вы... Вы — предательница! Вы — дура! Сволочь! — не находил я нужных слов для ругательств.

— Нет, Вадик. Ты потом поймешь меня, — грустно сказала она.

— Что! Что я должен понять! Продажная стерва! — кипела во мне обида. Кулаки сжимались сами собой. В горле стоял комок еле сдерживаемых слез.

Вмешался отец:

— Вадим, ты не имеешь права оскорблять Софью Михайловну. Сейчас же извинись.

«Ага, значит, вот как зовут эту проклятую будочницу: Софья Михайловна! Соня!» — пронеслось в мыслях. — А ведь даже не сказала! А у меня все выпросила, гадина!» — разъедал я себя злобой и жалостью еще больше. Как я ее сейчас ненавижу!

— Извиняться! И не подумаю!

— Софья Михайловна, извините нас, пожалуйста. Спасибо вам огромное за Вадима. Мы сейчас уедем.

— Я никуда с тобой не поеду, — безнадежно сказал я, хотя уже понимал, что никуда не деться, придется ехать.

— Вадим, не капризничай, будь мужчиной. Спектакли совершенно ни к чему. Бери вещи, прощайся с хозяйкой и пошли.

Я с досадой схватил сумку, которая лежала рядом на скамейке и еще раз с ненавистью взглянул на свою предательницу. Затем стремительно прошел к машине и сел внутрь.

«Москвич» фыркнул и тронулся. Будка быстро пропала за поворотом.

По дороге в город я не проронил ни слова. Отец хотел было заговорить со мной: «чего, мол, молчать, как немтырь какой», но я еще сильнее стискивал зубы, чтобы не послать его куда подальше.

Пока мы шли по двору, я видел, как мать украдкой смотрела на нас из окна второго этажа. Вечно все знающие старушки сидели на лавочке возле подъезда и, завидя нас, дружно зашептались, поглядывая на меня.

Дома я сразу ушел к себе в комнату, спешно пройдя через коридор с глядящими в пол глазами.

Мать несколько раз порывалась войти ко мне, но отец ее всякий раз осаживал: «пусть один побудет, обмозгует все». Я слышал, как она приглушенно всхлипывала на кухне. Что-то внутри меня не выдержало противостояния. Я вышел из комнаты, подошел к маме, обнял сзади и поцеловал в волосы. Попросил прощения.

С отцом у нас в тот же вечер состоялся серьезный разговор. Он впервые беседовал со мной, как с равным. С этого вечера у

нас в семье гораздо меньше стало ссор и разногласий.

В ту ночь, первую после побега из дома, я до глубокой темноты вспоминал будочницу. Тетю Соню. Нашу встречу, ночь в домике, утро. Все до мелочей. Вспоминал без злости. Она была права, когда говорила, что потом я ее пойму. Я понял и простил ее «предательство».

Сейчас у меня у самого есть ребенок. Сын. И мне становится многое ясно из того, что я когда-то не понимал в своих родителях. И чем дальше отстоят от меня события того дня лета, тем больше благодарности отзывается во мне к моей нечаянной первой женщине, тете Соне. Хотя после этого я больше никогда не видел ее.



# ОХОТНИЧЬИ ТРОПЫ





## ГРОМОВСКАЯ ИЗБУШКА

Избушка знакомого мне лесника хоронилась от посторонних глаз в уютной лесной низинке. Со всех сторон ее обступали высокие горбатые холмы. Они были похожи на огромных мохнатых дремлющих медведей, которые охраняют покой сибирской тайги уже многие-многие годы. А у подножия холмов, в низине, катила прозрачные воды небольшая таежная речушка Юган. Шумливо звеня на перекатах, она огибала могучие увалы и спешила дальше, образуя местами красивые тихие заводи с пестрым галечным дном.

На берегу одной из таких заводей и стояла избушка. Она была еще крепка, хотя и срублена в самом начале века. Щедро освещенная солнцем, избушка была похожа на теремок и весело глядела из-под резных ресниц-наличников на блестящую гладь заводи.

Я полюбовался на эту живописную картину с высоты холма и стал спускаться вниз по едва заметной тропинке.

В мутно-голубом небе, каким оно обычно бывает ранней осенью, неторопливо плыли редкие пухлые облака, которые казались такими мягкими обманчивому взору.

В теплом воздухе обилие осенних запахов. В дурманящий, тяжелый аромат багульника вплетался терпкий, насыщенный запах хвои, смолы, влажный запах прелых листьев, лишайников, грибов, ягод...

Необыкновенно тихо. Стараясь как можно меньше нарушить эту торжественную тишину, я подошел к избушке. Ее сухие бревенчатые стены были слегка теплы от осеннего солнца. Дверь в избушку оказалась закрыта. ««Странно, — удивился я. — Договоривались встретиться сегодня»».

И тут я заметил записку, которая была втиснута в косяк двери. Развернул.

«Ключ найдешь под кадушкой, суп и чай на печке, хлеб на столе под полотенцем. Приду в четыре часа. Хозяйничай пока без меня. 5 сентября. И.С.».

Под кадушкой, и правда, лежал тяжелый, слегка погнутый и местами подернутый ржавчиной ключ. Однако замок открылся без труда.

Обстановка в комнате была довольно скромная. Две кровати: одна — хозяйина, другая — на случайного гостя. Между окнами на южную сторону стоял крепкий квадратный стол на точеных ножках, покрытый уже выцветшей клеенчатой скатертью. Слева, у боковой стены, притулился древний, обитый железом сундук, какие бывали раньше у зажиточных людей. По всей видимости, сундук — семейная реликвия. Над скважиной для ключа на медной полудужной пластинке была вытиснена дата: «1862 ГОДЪ».

Над сундуком овальное зеркало с отколотым низом, а еще выше, под самым потолком, примостилась двухъярусная полочка для книг. Через всю комнату по широким половицам расстелены три домотканых половика.

На кухне же, которая представляла собой небольшой закуток за печкой, было и того скромнее. Кроме небольшого приземистого столика и двух табуреток, там ютился еще медный умывальник с мелкими зелеными пятнышками окиси, а над столиком на стене висел старый посудный шкафчик с потерянной дверкой.

Но, конечно же, «гордостью» дома была печка. Она занимала добрую пятую часть всей комнаты, свежо выбеленная заботливым хозяином.

Плита была еще теплая, на ней я нашел все то, о чем сообщал в записке лесник. Сытно наелся, и от этого стало клонить ко сну. Я разулся и прилег подремать на сундук, который жалобно скрипнул подо мной.

...Проснулся оттого, что по дому кто-то ходил, шаркал ногами. В комнате было сумрачно, но я разглядел присевшего у зашторенного окна лесника.

Он еще не выглядел стариком, хотя ему исполнилось уже шестьдесят лет. Звали его Илья Силыч Громов. Этаким корена-

стый, немного сутулый мужик, довольно подвижный и редко страдающий какой-либо хворью.

Лесник заметил, что я проснулся, и оживился.

—Хе-хе! Соня! Давненько мы с тобой не видались. Здорово! — сказал он, протягивая руку, и улыбнулся из-под густых седоватых усов.

—Здорово, Илья Силыч, — ответил я, еще зевая.

—Давно что ль пожаловал?

—Да в двенадцать к избушке-то подошел. Поел, ну и разморило... А суп у тебя отменный, Илья Силыч!

—Так я теперь по этой части многому научился. Моя-то хозяйюшка, Варвара Аркадьевна, семь лет как в земле лежит, царство ей небесное... Печенью сильно страдала, вот и забрала ее костлявая раньше сроку.

Лесник неожиданно погрустнел:

—Теперь вот один. И все сам.

—Тяжело?

—Бывало. Да я уж привык. Редко, кто ко мне забредет, да и детки давненько не наезжали.

—У тебя что, есть дети, Илья Силыч? Ты что-то никогда не рассказывал.

—Есть, а как же! Дочка и сын.

—Надо же! И где они?

—Сын-то у меня, Аркадий, — геолог. Ему уж тридцать четыре года. Он далеконошко. На Камчатке прижился. Там и половинку свою нашел. А дочка, Светлана, в Тюмени, в институте учится сельскохозяйственном. Ей-то всего двадцать лет.

—М-м. Так и внуки, наверное, есть?

—Е-е-есть! — смеясь, протянул Илья Силыч. — Два целых. Постреля-а-та — каких редко встретишь! Васютке десять в мае было, а Борьке-то еще восемь. Ну и шкодлики! Мать, когда письмо пишет, все про них рассказывает. Иной раз до того забавно случается, а вдругорядь и взгрустнется — себя вспомню: таким же был в детстве, шепутным. Но что мне нравится, так это то,

что они честные. Хитрые, но честные! И никогда друг на друга вину не свалят, вместе ответ держат. Хорошие, думаю, парни будут.

—А ты, Илья Силыч, давно в тайге живешь?

—У-у, давно-о. С пятьдесят пятого года. Как нашел свою Варварушку, так и стали с ней здесь жить.

—Порядком уже. А избушка-то с какого времени тут стоит?

—Э-э-э, ее мой дед еще срубил. В 1900 году. Он по тем временам хорошо жил, зажиточно. Охотник заядлый, на медведя не раз ходил. Тогда-то и появилась в тайге эта избушка. Он один ее строил, тайком. Про избушку долго никто не знал. Место выгодное, в стороне от больших лесных дорог. Такое, что и не сразу заметишь, даже если поблизости где-то будешь. Да и от поселка избушка за двадцать верст.

Батя мой и тот проведал о ней, когда повзрослел и вместе с отцом на охоту стал ходить. Кстати, наличники-то на окнах видел?

—Видел. Красивые.

—Он резал. Можно сказать, душу свою в эту работу вложил... Да и я только в восемнадцать лет узнал о существовании громовской избушки — так зовут ее в округе. А до этой поры — удивительное дело! —хоть бы кто из родных обмолвился...

Теперь уже многие знают, но ходят ко мне все одно редко. Так, охотник какой—нибудь, мимоходом. Меня же отшельником считают. В поселок редко наезжаю, по зимнику, за провиантом. Выпишу продуктов, тех, что не портятся долго, куплю книгу какую потолще, с людьми знакомыми поговорю, да и обратно.

Отвык я от суеты за тридцать пять лет, тишину люблю.

—Понимаю, Илья Силыч. Мне самому тишина милее, простор таежный.

—Так ты ведь у меня один постоянный гость. Еще время как-то находишь.

—Э-эх, я бы и на месяц, а то и на год здесь остался. Душе

человеческой нынче как никогда отдых нужен. В городе каждый день душа коверкается — злых много и уставших. В деревнях наших, хоть и получше, а все же не то. Жалко, черствеют люди.

—Верно говоришь, — вздохнул Илья Силыч. — Раньше я охотнее в поселок ездил, а сейчас приедешь — лица скучные, озабоченные, разговора избегают.

—Замотали селян вконец, потому и угрюмые. Ведь до чего дошло: веселятся только под хмельком, под хмельком же драки и распри.

—О-хо-хо, так ведь оно.

Наступила пауза. Я поспешил сменить тему беседы.

—А избушка-то крепкая, хоть и девяносто лет служит.

—Еще бы! — оживился лесник. — Она ведь полностью из лиственницы! А лиственница — лучшее дерево: не гниет и не рассыхается долго. Веками громовская избушка будет в тайге стоять!

—Да уж, смышленным мужиком был дед. Да и у тебя, Илья Силыч, руки хозяйственные.

—Это ты про суп, что ли? — засмеялся лесник.

—Ну-у, почему сразу суп? Не только. Банька ведь тоже тобой рублена?

—Мной. И банька, и дровяник, и стайка для Воронка. Я их в молодости ставил, в 1965—1966 годах, когда еще и Светланки в помине не было.

—Хорошее место выбрал твой дед: у реки.

—Да, место чудесное. Вода-то видел, какая прозрачная! Юган из лесного озерца берет начало. Я когда-то ходил туда. Ну, брат, и далеко же! Отсюда еще километров двадцать пять будет. Места там дикие, нетронутые — красота!

—На моей родине тоже есть речка Юган. Только она раза в два уже и мельче, чем эта.

—А-а-а, этих Юганов по Сибири — сотни, а, может, и тысячи. Правда, не у всех судьба добрая. Наш-то Юган люди берегут, он чуть не священным считается.

—А наш совсем загадили. Уж и в газету писали не раз, да все без толку. Жалко на речку смотреть — гибнет. А раньше такая красивая была! Теперь же по берегам стекла, банки, железо...

И снова в избушке тишина. За окном, над темным косогором, уже мерцали крупные звезды. Илья Силыч зажег керосиновую лампу.

—Не жалеют люди природу, не берегут нисколько. Все дармоедами привыкли жить. Лишь бы им было хорошо и уютно, а там хоть трава не расти.

—И уже не растет местами.

—Во-от. А все почему? Потому что связь, родство с природой потеряли. Ведь ну сами же себя с корнями из своей надежной обители вырвали. А там, где вырвано, сплошные раны. Земле-то что, хоть и бессловесная она, так не обидно разве?

Я согласно кивнул.

—То-то же.

Илья Силыч разволновался.

—Вот ты сам посуди: оторвался человек от природы, как на чужбине оказался. А чужбину-то никто не бережет — не свое. Так ведь?

—Ну.

—И дом родной потерял и забыт. Что получается?.. Вот и живет человек бездомным, как пес какой. Мотает его по миру. И, главное, ведь сам оторвался, добровольно, никто не принуждал.

Да, надо, чтобы у каждого человека свое родное гнездо было, свой дом.

—Вот-вот. Как у меня — громовская избушка, чтобы привязанность была. Хватит по чужим краям скитаться!

Илья Силыч снова помрачнел лицом, замолчал, повернулся к окну.

...Ночью мне приснилось, будто я лечу. Тайга раздвигается, как в сказке, и кажется еще более величественной и прекрасной.

И где-то внизу, в небольшой низинке, в центре огромного лесного моря, крохотное светлое пятнышко, будто маячок — громовская избушка.

## ПОЕДИНОК

Нынешняя северная осень была необыкновенно милостива к людям. Весь сентябрь простоял теплый солнечный и сухой. За месяц пролилось лишь три дождя. Веселый сентябрь! Быстро выплакался!

Вот и начало октября стояло тихим и безоблачным. Только холодные ночи да уставшее греть и все ниже поднимающееся над горизонтом солнце напоминали, что скоро нагрянут большие перемены: небо затянет неповоротливыми мрачными тучами, солнце надолго скроется, утонет в этой пасмурной угрюмой стране, на землю ляжет снег, а тайга нарядится в искристый легкий иней — придет косматая вьюжная зима.

А пока стояла чудесная погода. Прошел листопад, и неба в тайге стало больше. Сквозь оголившиеся ветви деревьев сочилась последняя голубизна, взгляд глубже простирался в лес, все вокруг становилось полупрозрачным, воздушным, просторным, и от этого дышалось легче.

Вечером тайга преображалась. Купаясь в лучах заходящего солнца, она была похожа на прекрасную девушку, плывущую в мягких волнах света, в прозрачной невесомой фате вечерней дымки.

В один из таких вечеров я сидел за столом в своей охотничьей избушке и, подперев голову рукой, глядел куда-то вдаль за окно.

Воспоминания унесли меня далеко-далеко от действительности. События причудливо переплетались между собой, наслаивались друг на друга, и уже только обрывки былого проносились в голове, увлекали все дальше и дальше в пучину памяти. Я незаметно забылся и, видимо, задремал.

...Проснулся резко, как от толчка. Лицо было в жарком поту. Я мучительно застонал. «Опять этот сон...» Тело пробивала заметная дрожь. Никак мне душа одного зверя покоя не дает. Во сне приходит и укоряет... Виноват я перед ней. Страшно виноват...

Лет пять назад это было. Волков тогда много развелось. По ночам в деревни заходить стали, овец задирать. Тайга в тот год скудная была, еды волкам не хватало, вот они и осмелели. Один охотник стаю волков видел, больше двадцати насчитал — большая стая. Поэтому тогда и разрешили массовый отстрел и ловлю волков.

А у меня в окрестностях избушки тоже, что ни ночь, то вой. Зловещий вой, жуткий. Решил я капканы поставить. Поставил. Замаскировал так, что и век не найдешь, если место забудешь.

На следующий день пошел проверить.

Зима в тот год сильно запаздывала. Был уже самый конец ноября, а снега до сих пор не выпало. Иногда пролетали редкие снежинки, но и те скоро таяли на ветвях деревьев и ноздреватых мхах. Впрочем, было достаточно холодно, особенно ночами. Воздух был неподвижен и морозен, и небо днем представало взору пустым и блеклым. Промерзлая земля глухо стучала под ногами.

Тихая заводь недалеко от моей избушки постепенно покрылась прозрачным льдом, который приятно и звучно гремел, если я бросал камешек, а середина речки была еще свободна от ледяной корки и чернела на фоне белого непрочного припая.

Еще издалека я увидел замеченное мною вчера место с капканом и разглядел, что листья и мох вокруг сильно разворочены. Я ускорил шаг. Когда подошел ближе, то обнаружил много пятен замерзшей крови, которые буро темнели то тут, то там. Капкан был захлопнут. Стальными зубами он что-то крепко сжимал. Я наклонился и с усилием раздвинул его створки.

Там находилась часть лапы. Но это была не волчья лапа. Я внимательно осмотрел ее. Обрубок в пятнадцать сантиметров был покрыт светлой желтоватой шерстью. По всей видимости, лапа у зверя достаточно мощная и широкая. Сильная лапа. Конец обрубка был покрыт густыми жесткими волосками, в которых прятались острые тускло блестящие когти.

Я уже догадался. Это была лапа взрослой рыси. Рысь! Ког-



да я осмотрел место внимательнее, то увидел валяющийся сломанный желтый клык и пришел к выводу, что это не капкан перебил ей лапу полностью, а сама рысь долго боролась с ним в попытке освободиться, отчаялась и... перегрызла себе лапу, намертво зажатую в зубьях капкана.

Я напряженно вздохнул, покачал головой и пошел дальше, к другому капкану. На душе было нехорошо. Я шел и думал о рыси. Представлял, как она рычала, попав в капкан, как по-звериному плакала, когда перегрызала покалеченную лапу, торопливо хромала прочь, оставляя на земле кровавые следы, и спешила скрыться глубоко в тайге, чтобы там залечивать свою незаслуженную рану. Так я шел минут десять.

Неожиданно мне стало не по себе. Я испытал внезапное ощущение, будто кто-то смотрит мне в спину. Мгновенно развернулся, повинувшись непонятному чувству, и стал пристально вглядываться в близлежащие густые кусты ольхи. Силился понять, что же заставило меня оборотиться?

Я ничего не увидел, хотя явно чувствовал на себе чей-то тяжелый пристальный взгляд. Сердце сильно заколотилось в груди, дыхание стало частым. Я сдвинул брови и напряженно сжал губы. На лбу выступила горячая испарина. Взгляд непроизвольно вперился в большой ветвистый куст ольхи. Я шарил по нему неморгающими глазами и пытался разглядеть непонятно что. Но чувствовал, что недобрые токи в мозг идут именно оттуда.

Вдруг в голове у меня помутилось, и я в испуге отшатнулся назад. Сквозь беспорядочное переплетение ветвей на меня с ненавистью смотрели большие хищно блестящие глаза.

«Рысь!.. Та самая!..»

Не помня себя, я нервно вскинул ружье и стал прицеливаться. Руки противно, предательски дрожали, мушка бегала в прицеле то слева направо, то вдруг ныряла вниз, и я никак не мог сосредоточиться. Рысь зашипела и слегка двинулась с места.

— Уходи! — хрипло прошептал я ей. Рысь глухо, враждебно зарычала.

—У-у-хо-ди — говорю!

«Р-р-р-р-ры-ы-ы...»

Чтобы не выдать противный неуходящий страх, я сделал шаг вперед. Рычание за кустом прекратилось. Глаза исчезли. Тишина была еще напряженнее. Она сильнее сковывала движения, пугала своей неопределенностью. Я медленно пригнулся и снова стал всматриваться в густую сеть ветвей — глаз не было видно. Через некоторое время мне послышался хруст веток метрах в сорока от меня.

«Ушла».

Я облегченно вздохнул, распрямился и сначала медленно, а потом, не выдержав, все быстрее побежал обратно к избушке и даже не вспомнил про другой капкан.

Мне было жарко. Кожа лица так и пылала. В глазах то и дело мелькали яркие разноцветные круги и застилали все остальное, в груди словно пылал огонь, выжигая ее изнутри. Я непрерывно оборачивался и не выпускал из рук ружья, боялся, что рысь тайком следует за мной и только ждет удобного момента, чтобы расправиться за покалеченную лапу.

Словно после изнурительной работы, я едва добрался до избушки, последними усилиями отворил дверь и сразу в изнеможении повалился на пол.

Тело было как чужое. Оно все ныло, ноги гудели, в ушах стоял пронзительный монотонный звон, взхлеб билось сердце и горячая кровь с отчаянной силой, до нестерпимой боли колотилась в виски. Я ощущал, как пот струйками стекал по всему телу. От сбивчивого жаркого дыхания пол около лица стал влажным. Я чувствовал себя загнанной лошадью и очень медленно приходил в себя.

Когда отдышался, то попытался встать. С трудом поднялся на дрожащие ноги, доковылял до кровати и тяжело бухнулся на нее.

Проснулся уже глубоким вечером. Часы показывали половину одиннадцатого.

В комнате было темно, только от окон падал слабый белесый свет. Я медленно приподнялся на кровати и перевел взгляд за окно. Было полнолуние. Небо предстало взору чистым-чистым, и крупные незамутненные звезды ярко сверкали на черном куполе ночи щедрой золотистой россыпью. Высокий косогор темным горбом выдавался на фоне величественного неба. Прозрачный лед заводи туманным пятном отражал свет полной луны, а по незамерзшей поверхности речки прыгали серебристые лунные зайчики. Ветра не было, и деревья стояли, как окаменевшие фонтаны. Еще более таинственной казалась тайга в полнолуние. Все вокруг царственно молчало.

Я чувствовал себя отдохнувшим, но продолжал сидеть на кровати с прикрытыми глазами. Это бывает порой так приятно: замереть в уютной обволакивающей тишине, отрешиться после жизненных передряг и почувствовать полное умиротворение.

Вдруг в этой тишине я отчетливо услышал, как что-то мягко упало на крышу. Уж слишком явным был загадочный звук, чтобы не обратить на него внимание. Я насторожился. По крыше кто-то осторожно, крадучись ходил. Я напрягся. Волнение вновь вернулось ко мне. Передвижение по крыше на какое-то время прекратилось. Но вот снова шаги. По скату, шурша, прокатились мелкие земляные крошки. Смутная догадка запала мне в голову. «Она»!

Тем временем кто-то, стараясь не нашуметь, возился у трубы. Я бесшумно встал с кровати и напряг слух. Вдруг из дымохода глухо и злобно, издали, послышалось рычание. Меня будто окатило ледяной водой! Сомнений больше не оставалось: на крыше рысь! Стараясь не выдать себя, я осторожно подобрал ружье, которое до сих пор лежало на полу, и подошел к двери. Мне неожиданно все стало ясно. Она не оставит меня в покое, пока я жив. Выбирать не приходится. Это поединок. Я отворил двери, пробрался через темные сени и вышел под небольшой навес.



Здесь было гораздо светлее, чем в избушке. Спокойный свет полнолуния мягко лился на землю. Луна находилась с другой стороны, и от избушки падала размытая по краям, но заметная тень. Над крышей выдавалась прямоугольная тень трубы. А рядом замерла еще одна... Она была прямо надо мной. Конечно, рысь все равно слышала, как я вышел из дома, хотя я был предельно осторожен. И теперь она уже ждала меня. По моей спине невольно пробежал холодок, и я судорожно переглотнул.

По силуэту было видно, что рысь приготовилась к прыжку и, видимо, ждала, когда я выйду из-под навеса, чтобы броситься мне на спину и вцепиться зубами в шею. Но я в уме уже рассчитал все действия и только собирался с духом, чтобы начать.

Уловив удачный, как мне показалось момент, я резко выпрыгнул вперед из-под навеса, мгновенно развернулся, вскинул ружье и спустил сразу оба курка, прицелившись в уже летящую надо мной в прыжке рысь. Выстрелы на миг оглушили меня, и я только увидел падающего на меня зверя с развороченной пулями шеей, из которой на лицо мне хлынула теплая густая кровь.

Падая, рысь ударила меня в плечо, я потерял равновесие и грохнулся на спину, машинально загоразживаясь руками. Хриплые, хлюпающие звуки вырывались из ее горла, которое было разорвано выстрелами. Она умирала.

Я неловко и растерянно поднялся на колени и взглянул на нее. Рысь смотрела на меня выпученным неподвижным глазом. Я ужаснулся ее взгляду! В нем была боль, ненависть, отчаяние, горечь. В нем было презрение и жестокий укор мне. Ее взгляд говорил: «Ты убил меня, человек! Ты убил меня!» Боже, как страшен был немой укор в остекленевших глазах! В них было что-то не совсем звериное, что-то... человеческое!

Это испугало меня еще больше. Мне не стало хватать воздуха. Я жадно вдыхал его ртом, но его будто не было. Я застонал. А умирающее животное дернулось в судороге и замерло, продолжая глядеть безжалостным испепеляющим взглядом — взглядом проклятия.

Мох, где лежала мертвая рысь, глубоко пропитался кровью, и в воздухе теперь тоже стоял ее теплый насыщенный запах, какой бывает еще во время бойни скота.

Я посмотрел на себя. Мокрые липкие пятна крови были на всей одежде.

Рот от запекшейся крови не открывался, и все лицо стянуло застывающими сгустками. Тяжелое чувство сдавило меня, и я поспешил покинуть свою жертву. Впервые я ощущал себя убийцей.

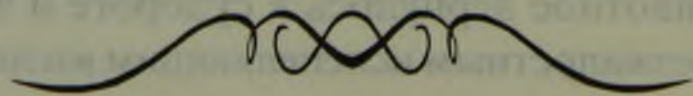
В ту ночь мне в первый раз приснился кошмар. Будто рысь ожила, вошла, хромая, в избушку и уставилась на меня немигающим взглядом, в котором навсегда застыл укор. Я гоню ее прочь, а она по-человечески качает головой и указывает мне то на изуродованную лапу, то на развороченную пулями, кровоточащую шею и со злобой и горечью произносит: «Ты убил меня».

С той поры она время от времени приходит ко мне в зловещих снах, и я каждый раз испытываю мучительные угрызения совести и что-то еще тяжелое и неосознаваемое мной до конца.

Я с того дня и капканы перестал ставить. Они на меня тоже плохие воспоминания нагнетают.

Вот она — совесть человеческая... Кому-то все это триньтрава, а мне всю душу наизнанку вывернула. И как же это я тогда! Может быть, какой другой выход был? Не знаю... Вряд ли. Страшный тогда у нас с рысью поединок был. Ведь оступись или промахнись я, и конец бы мне пришел: перегрызла бы она мне горло.

Но и убив рысь, я не победил ее. Она победила меня. Мертвая живого на колени поставила. На колени перед моей совестью. Я проиграл этот поединок, потому что я человек.



## ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ

Вечером вся тайга погружается во тьму. В темноте слух человека обостряется, и многие незнакомые звуки, шорохи, которые человек днем не замечал, становятся хорошо слышны. А незнакомое всегда пугает.

Ночью, да еще если небо заволочло тучами, пропадают все ориентиры, и ты становишься слепым, не знаешь куда идти, совершаешь глупейшие ошибки, не подозревая о них, и сбиваешься с пути окончательно. К страху прибавляется паника. А человек, который потерял в тайге самообладание, пусть даже днем — это погибший человек.

И еще. Люди всегда преклонялись перед чем-то могущественным. Господствующим, понимая свое бессилие. Например, перед землетрясениями, ураганами, штормами, эпидемиями. Так и здесь. Если человек волею случая оказался в ночной тайге, он неминуемо начинает ощущать мощь и власть огромной лесной стихии над ним, все его мысли пронизывает обречение, и он — сломленный — зачастую сдается, теряет веру в свои силы и становится игрушкой гнетущего воображения, страшных фантазий, самовнушений, которые подавляют разумное начало.

А если кто и выходил из тайги, то это счастливая случайность. Ночная тайга — непредсказуема. Всякое в ней случается.

И со мной было. Правда, не совсем такое, но все же.

Один раз, осеней этак шесть назад, забавный случай произошел. Леший меня по тайге водить вздумал.

Пошел я на охоту. Далеко забрел. На Птичье озеро. Я вообще люблю по тайге ходить, много интересного видишь. Так вот, подошел, гляжу: уток на озере — тьма!

И, видимо, человеком ни разу не пуганые. Плавают, покрывают. Ну я в тот раз хорошо свою меткость проверил! За каких-то полчаса в рюкзаке лежало уже десять уток. Думаю, хватит мне, и повернул обратно, на Крутую Горку — есть у охотников наших такой ориентир в тайге.

Дело уже к вечеру было, а до моей избушки еще порядком через увалы брести. Решил перекусить, а то за день сильно проголодался. Выбрал местечко посуше под дуплистым кедром, достал бутылку с квасом, сухарей, банку тушенки открыл — сижу, подкрепляюсь, только за ушами трещит.

Поел, сложил остатки обратно, встал, дальше иду. Взглянул на то место, где Кривая Горка должна быть — ан нет ее!

Что такое?... Может, ненароком в низинку спустился?... Да вроде бы там Кривая была.

Поразмышлял так и припустил правее, понадеялся на память. Иду, а Горки все нет. Прошел еще минут десять, гляжу тот же дуплистый кедр передо мной, под которым я отдыхал! У меня аж в виски ударило. «Господи! Нечистый что ли кружит?». Солнце-то, вижу, уже садится, а до избушки добираться еще о-ё-ёй.

Повернулся опять лицом к Крутой Горке и пошел напролом. Через кочки, через кустарники, через пни — лишь бы не заплутать. Быстро иду, тороплюсь, дышу, как после хорошего бега. Солнце уже закатилось — я еще быстрее, сердце колотится, пот градом. И надо же было так случиться: ка-ак хлопнусь со всего маху, споткнувшись о кочку.

Ругнулся на себя, встаю, бреду дальше, отряхиваюсь, взглянул на Крутую Горку — нет ее. Опять прозевал! Что за черт! Ведь вот тут только что была. Нет, думаю, не проведешь! Стиснул зубы и пошел в прежнем направлении. Долго шел... Вдруг у меня даже мурашки по коже поползли! Снова передо мной зацепился тот же дуплистый кедр. Я даже оцепенел. Это ж кому рассказать! Я — профессиональный охотник, знающий в округе все лесные тропы, постыдно кружу в окрестностях Крутой Горки и не могу до нее дойти. Что же, думаю, делать-то? Уже темнеет, до избушки далеко, я зверски устал, ночью идти опасно, совсем заблудишься или того хуже в болоте завязнешь.

Решил на этом же злополучном кедре переночевать. Залез, разместился в удобной развилке, привязался к стволу для страховки шнуром и, так как был смертельно уставшим, быстро заснул.



К утру остудившийся за ночь осенний воздух стал пробираться сквозь одежду и неприятно холодить тело. От этого и проснулся.

Уже светало. На востоке занималась заря, темные холмы все больше проступали из сумрака. Пока спускался с кедра и разминал онемелое продрогшее тело, совсем рассвело. Первые размытые лучи окрасили верхушки деревьев в легкий розовый цвет, и тайга преобразилась.

Я закинул на плечи рюкзак и пошел к Крутой Горке. На этот раз благополучно добрался до нее, и было очень неприятно и удивительно: как это я вчера мог так глупо плутать. Уж точно леший проказничал!

Ну, а от Крутой Горки к избушке дорога известная. Много раз хоженая. Где-то уже через час с небольшим я был у ее порога.

Вот такой забавный случай. Жаль только самого лешего не видел. А интересно было бы с ним поговорить, а!

Я после того случая много раз у Крутой Горки бывал, но всегда днем, а то кто знает, может, опять леший позабавляться бы захотел.

## ВЕДЬМИНО БОЛОТО

Собрался я как-то за клюквой пойти. Уже ударили первые заморозки, и по всем приметам было самое время собирать эту целебную ягоду.

Накануне приготовил ведро, одежду, еду, спички, сунул в карман тюбик с мазью от комаров. Потом сходил в дровяник и принес пару болотоходов, сплетенных из молодых березовых прутьев, все аккуратно сложил до завтрашнего утра и остаток вечера провел в тепле избушки.

Забавно потрескивала полешками гудящая печка. Было похоже, словно за чугунной дверцей идет самый настоящий, но маленький бой: вот стреляют из винтовки, вот отчетливо трахнула пушка, и, визгливо жужжа, пронесся раскаленный снаряд, что-то

зашуршало, обрушилось от его падения, и снова треск, свист, гудение — и все это озаряется пышущими языками пламени, бросающими блики сквозь резные отверстия дверцы на темные стены.

Уже стемнело, а я так и не зажег свет. Молчаливо сидел за столом и мысленно перебирал в уме: все ли приготовил, чтобы идти завтра за клюквой. И вдруг из закоулков памяти неожиданно всплыл давний случай, когда я тоже собрался на болота за этой ягодой. Загадочная тогда со мной история произошла.

Я в то время еще молодой был. Года два прошло, как в избушке таежной стал жить. В ту осень клюквы на болотах видимо-невидимо было, словно ее нарочно рассыпали. Вот и порешил за клюквой пойти.

А есть тут у нас километров за восемь очень гиблое место. Ведьмино болото. Его все в округе знают. Много людей затянуло. Дурная у болота слава. И воздух, говорят, над тем местом нехороший. Одурманивающий.

А я по своей глупости, храбрости напускной решил пойти именно на Ведьмино болото, набрать клюквы, а потом перед всеми побахвалиться: вот мол, Ведьмино болото не испугался, был там, да еще и клюквы ведро принес. Ох, дурная голова!

Отправился на Ведьмино болото и никому не сказался, в какое место меня черт понес. Сейчас вспоминаю: какой же самонадеянный был. Сколько мне, двадцать семь что ли было тогда.

Пришел на болото. Осмотрелся. Место, и правда, не из приятных. Около берега лес мертв, ни одного живого деревца или кустика. Само болото в небольшой впадине: шагов четыреста в длину и примерно с половину того в ширину. Мрачное место, угнетает.

Тут я первый раз оробел. Но поколебался и решил; не уходить же обратно, коли пришел. И к тому же какой-то странный навязчивый азарт охватил меня, когда я глядел на болото. Невиданно огромные, как крыжовник, сизо-рубиновые бусины

клюквы очаровывали, неудержимо влекли к себе, щекотали взгляд тусклым спелым блеском.

И вот я ступил на моховой ковер Ведьминого болота. Боже мой! Под упругим моховым настилом от ноги сразу побежала едва заметная пологая волна. Меня слегка покачнуло, будто я находился в лодке. «Надо быть начеку». Осторожно ступая, продвинулся еще на пять шагов. Остановился, поглядел на болото, на мертвый лес.

Что-то было не так! Корявые скелеты деревьев почему-то медленно поднимались вверх! Росли! Страшная догадка толкнулась в голову. Я метнул взгляд к ногам. О, ужас! Тонкий слой мха прогнулся подо мной в глубокую воронку, которая заметно вдавливалась вниз, и сквозь мох сочилась грязная жижа. Она покрывала болотные сапоги уже выше щиколотки и медленно, но неуклонно поднималась, а под моховым настилом что-то отвратительно забулькало и зашипело, пробираясь наружу. Я невольно вскрикнул. Меня охватил животный страх. Я вдруг всем телом ощутил: подо мной — бездна! Какое-то мгновение даже не знал, что делать. Страх сковал ноги, и тело предательски ослабло.

А мох все больше продавливался, и, казалось, он вот-вот разорвется, и Ведьмино болото поглотит меня.

Я отчаянно рванулся вперед и, не помня себя, пошел, но не к краю болота, а в его центр. Главное — было уйти от коварной ловушки, где смерть уже дышала мне в лицо. Наконец я набрел на более твердый участок почти в середине болота, остановился и перевел дух. Пот застилал глаза, тело неостановочно билась нервная дрожь. Я бессильно повалился под единственную на болоте чахлую умирающую ель и впал в забытие.

Через какое-то время пришел в себя. За эти минуты небо успело затянуть тяжелыми тучами, а на болото неведь откуда опустился небывало густой туман. От самого болота тоже поднимались колыхающиеся струйки желтоватого пара. В воздухе, и правда, появился какой-то давящий смрадный запах, о котором нередко поговаривали люди.



То, что случилось дальше, принято считать по науке за самовнушение, за навязчивые видения под давлением страха — может быть, но я так думаю, что это все от действия паров или газов, которые из болота выходят.

Так вот. Лежу, значит, — опамятовался. Вдруг слышу, где-то за пеленой тумана — стоны! Протяжные, мучительные! И совсем близко, но не видать. У меня внутри все словно оборвалось! Выходит, я не один на Ведьмином болоте! Насторожился. А сердце до того сильно стучит, что, кажется, слышно его шагов на десять. Вокруг туман сгустился, даже туч не видно. И так-то мне нехорошо на душе стало. А стоны опять. И уже ближе! И различаю, что не мужик, а женщина стонет. Страдальчески, глухо, словно из утробы стон идет.

Вдруг вижу, далеко в тумане какая-то более плотная тень движется. Плавно так. Покачивается. И чувствую, что приближается. У меня даже волосы дыбом поднялись, как шерсть у зверя. И деваться — никуда не денешься! Приподнялся на локте, дыхание затаил и гляжу во все глаза. А тень все ближе и ближе, будто плывет по воздуху, и недобрый холодом от нее веет. Вокруг туман клубит, и стоны уже в нескольких местах слышатся, с хрипотцой. Жутко мне стало! Вот, думаю, влип! Прямо к нечистому в лапы!

Вижу, а это самое пятно, тень-то, в человека вроде как превращается. Вот руки вылезли, сверху голова с шеей расти начали... Гляжу — дева какая-то. Вся словно туманная, в одеждах белых, волосы светлые в беспорядке по плечам распущены. Идет ко мне бесшумно, словно крадучись. Все ближе, ближе, ближе. А я не то, что отползти — крикнуть уже не могу! И сердце — бум-бум-бум...

И вдруг протягивает она ко мне длинную руку, не доходя шести шагов, и манит к себе иссохшим крючковатым пальцем. Я пытаюсь вцепиться глубоко в мох, но какая-то неведомая сила срывает меня с места, поднимает на ноги, и я неуклюже иду за девой, как магнитом притянутый.

Могу побожиться: никогда еще не встречал дев такого об-

личия. Это была воистину лесная дева. А, может, и сама хозяйка болота —ведьма.

Это, скажут, выдумки, сказки, но ведь я видел! Своими глазами видел!

Так вот, иду я за ней, как на привязи, а она все меня пальцем манит. И глаза у нее такие нечеловеческие: одни белки! Выпучены, не мигают! И взгляд особенный: всасывающий, пожирающий!

И, страшно вспомнить, в довершение ко всему она... улыбалась! Это была дикая застывшая улыбка! Улыбка сумасшедшей, с хищно оскаленными зубами.

Она неестественно покачивала угловатой головой и отступала назад. В трясины. Неожиданно дева остановилась, опустила руку с продолжавшим манить пальцем, запрокинула голову и утробно засмеялась: хы-ы - хы-ы - хы-ы - хы-ы-ы-ы... Одновременно с этим одежда мягко соскользнула с ее плеч и растворилась в тумане. Она предстала совершенно обнаженной, и ее тело было пугающе прекрасно. Быстрым движением ведьма обхватила ладонями могучие груди, сильно сдавила их и зажмурилась от одного ей ведомого наслаждения. Из крупных сосков тугой струей выпрыснула темная жидкость, попала на мох и бурно зашипела, пуская густой желтый пар. Мох словно выгорел, на его месте зияло окно трясины. Ведьма злорадно рассмеялась, поглаживая массивные груди, и вдруг — пропала, растворилась в седом неподвижном тумане.

Долгое время я находился в оцепенении и ничего не видел вокруг себя. А между тем тучи стали расходиться, и выглянувшее солнце подняло тяжелую туманную завесу над болотом. Наконец, я стал узнавать предметы и вспомнил, что со мной было. Но все это казалось дурным сном, хотя я все так же находился на болоте и стоял шагах в двадцати от чахнувшей ели, недалеко от рваной дыры трясины. Пустое ведро, о котором я совсем забыл и все это время не вспоминал, было крепко зажато в правой руке. Так, что я перестал чувствовать его деревянную ручку.

Глубоко и облегченно вздохнув, я поспешил уйти с Ведьмино-ного болота. Кто знает, какая еще напасть может прицепиться.

Осторожно ступая по дрожащему хлипкому слою мха, я и не подозревал, как коварно Ведьмино болото, и что его хозяйка вовсе не намеревается меня выпустить. Да и само болото, я уверен, было живое и уже давно обозлилось оттого, что его жертва так долго не сдается.

Страшно было ощущать под ногами его затаенное алчущее дыхание. То и дело из-под мохового слоя доносились утробные, навевающие ужас звуки.

Я уже дошел до края болота и занес было ногу, чтобы ступить на твердый берег, как кромка мха под ногой предательски продавилась и мгновенно ушла в черную вонючую трясину. Я стал быстро погружаться в вязкую пузырящуюся муть. Холодный сжимающий страх вновь навалился на меня. Судорожно я метался взглядом по берегу, пытаюсь ухватиться за любую кочку, способную помочь. И вдруг увидел березку, которая, словно желая выручить, протягивала сверху свои ветви.

Чудом, в последнее мгновение я сумел ухватиться за протянутые «руки помощи»! Изо всех сил подался вперед. Снизу будто десятки рук уцепились за ноги. Если бы ветви обломились, я пропал! Болото урчало и чвокало, словно не желая отдавать по грудь затянутую жертву. Его грязные языки липко цеплялись за одежду, но все же медленно сползали.

Я сделал еще одно невероятное усилие. Болото продолжало тянуть вниз, выпускало из себя сотни маленьких пузырьков, которые противно и зло лопались за спиной, но уже не могло справиться.

Измученный, до подмышек в скользкой болотной грязи, я наконец выбрался на берег, обхватил свою березку-спасительницу и... зарыдал. Слово что-то порвалось внутри меня. Рассудок, казалось, еще не верил, что я остался жив.

Продолжить путь к избушке я смог только через два часа. Возвращался уже без ведра — оно-то и стало добычей Ведьмино-ного болота.

С тех пор обхожу его стороной. Боюсь. Второй раз живым ни за что не отпустит. Клюкву только на хорошо знакомых болотах собираю. И таежные законы изучать стал досконально. Потому как в тайге незнающему или глупому храбрецу очень легко сгинуть, порой и следов от человека не остается. Тайга — это огромная страна. Тайга — это тайна.

## ЗАБРОШЕННОЕ ЗИМОВЬЕ

Давно это было. Лет восемнадцать назад. Но как сейчас помню: собрался на охоту за утками. Не на птичье озеро, как обычно. А решил куда-нибудь в другое место наведаться, где еще ни разу не охотился. Отправился на Заячью гриву.

Вышел часов в десять. Солнце уже поднялось и разогнало утренний туман, только легкая, едва заметная дымка висела над увалами и рассеивала ослабленные осенью солнечные лучи. Тайга просыпалась.

Я шагал по узкой петляющей тропинке и слушал голоса оживающего после ночи лета. Так незаметно дошел до Заячьей гривки. А когда поднялся на нее, решил пойти дальше, до Лысого холма. Еще столько же шел. Устал, но не разочаровался. Уток там было — хоть дюжину охотников зови! А потом стреляй, не целясь — не промахнешься! Да и утки были отменные, упитанные, не гляди, что дикие.

Подстрелил девять штук и повернул обратно. Иду, на душе весело, что охота так удачно прошла. Хорошо! Но, видно, навсегда это заведено, что хорошего помаленьку. Недолго пришлось радоваться.

Оступился в сыром месте, взмахнул руками, пытаюсь удержаться, и крепко впечатался в жидкую грязь. Сильно подвернул ногу. Острая боль мгновенно пронзила ее. Я громко закричал и повалился набок. В грязной лужице увидел свое лицо, искореженное страшной гримасой невыносимой боли. Как только не потерял сознание!



Медленно, словно нехотя, боль стала затухать, но еще сильно токала в ноге, простреливала в поясницу. Я непроизвольно вздрагивал всем телом и шумно, с громкими стонами дышал. Попробовал пошевелить ногой. Она слабо слушалась меня. И я почти не чувствовал ее. Вместо ноги была изнуряющая боль, которая то усиливалась, то ненадолго откатывала. Я всегда ее плохо переносил; откинулся назад и закрыл дрожащие веки.

Прошло еще некоторое время. Боль немного утихла. Затаилась. Но боже мой! Как вспухла моя нога! Я чувствовал, каким тесным стал для нее сапог. Что же делать?..

Я попытался собраться с мыслями.

До села добрая дюжина километров, нечего было и думать о том, чтобы идти туда. Просто не смогу. Я поглядел на неподвижно лежащую ногу и досадно застонал. Как глупо!.. Наверно, серьезное растяжение. Но что же делать?! Что делать? Что?..

Вдруг неожиданно вспомнил: знакомые охотники однажды рассказывали, что левее Лысого холма есть небольшое озеро — Горемычное, а на его берегу древнее зимовье, забытое, запущенное и никому уже не принадлежащее.

Мне никогда еще не доводилось там бывать, но сейчас я сориентировался и прикинул, что нахожусь от него метрах в шестистах. Это было спасение! Во мне зажглась надежда. Дopolзу!

И вот я медленно пополз, волоча распухшую ногу. Опирался на руки, толкался здоровой ногой и рывком продвигался на полметра вперед. Каждое движение вызывала тупую, до темноты в глазах, сжимающую боль. Нога ныла, пот градом лился с меня, впитывался в одежду. Мне приходилось часто сворачивать с прямого пути, чтобы обползти сырые низинки или болотца. Это ощутимо удлиняло и без этого трудный путь. Упругие ветки кустов больно хлестали по лицу, расцарапывали кожу. Натруженные руки гудели, но я упорно полз вперед. Каждую минуту останавливался, чтобы переждать нарастающую боль.

Вконец измученный я выполз на берег хмурого озера с тем-

ной водой. «Уж точно — Горемычное», — подумалось мне. Огляделся. Со всех сторон озеро окружали плотной стеной ели и кряжистые кедры. А самый край берега обрамляли маленькие чахлые березки и кусты ольхи, низко склонившиеся над водой свои ветки.

Зимовье заметил не сразу. Оно находилось метрах в восьми от берега и хоронилось в прибрежных кустах так, что едва можно было различить его очертания. До зимовья оставалось шагов сорок.

Стиснув зубы, пополз вперед.

Дверь зимовья была приставлена толстой сучковатой палкой. Я оттолкнул ее плечом, открыл сухо скрипящую на одной петле дверь и перевалился через низкий порог в затхлый полумрак помещения. Преодолевая порог, сильно ударился больной ногой и теперь сдавленно и надсадно шипел сквозь зубы. Машинально обхватив разбереженную ногу, изрыгал всевозможные проклятия, чтобы хоть как-то отвлечься от неимоверной боли. Но она была до того сильной, что заполнила собой все. Она была просто адской! И долгое время мне оставалось лишь ошалело, бездумно покачиваться из стороны в сторону, пытаюсь совладать с ней.

Кое-как я этого добился и в облегчении лег на пол. Расслабился, насколько это было возможно, закрыл исхлестанные ветками, воспаленные глаза и замер. А так как был окончательно измотан, то скоро забылся и уснул, что явилось для меня огромным облегчением.

Спал долго. Ночью один раз просыпался, но только для того, чтобы сбросить с плечей рюкзак, который до онемения искривлял спину. Проснулся, когда стрелки часов приблизились к одиннадцати.

Первым делом оглядел ногу. Понадобились большие усилия, чтобы стянуть отсыревший сапог и не разбудить при этом дремлющую боль. Припухлость не стала меньше, но уже можно было немного шевелить ногой, хотя это сопровождалось ною-

щей притупленной болью. Обследование заняло немало времени, так как снимать и одевать сапог было настоящей пыткой. Затем я стал осматривать внутренность зимовья.

Сильно провалившийся потолок был до того низким, что если бы я встал, то непременно бы уткнулся в него головой. Похоже, что он держался только благодаря широкой поперечной доске, разохшейся на две половины, и тресни она где-нибудь от натуги еще раз, все хлипкие доски перекрытия обрушились бы на меня.

Пола, как такового, не было. Вчера, измотанный до предела, я не заметил этого и только сегодня разглядел, что пол замещали просто лежащие на выровненной земле доски. Старые, насквозь сырые, обросшие по краям бугристым мхом, они свободно сдвигались с места. Я поднял одну из них вверх. Обратная сторона доски была землистого цвета и пахла лесной сыростью. Из набухших древесных волокон выступила мылкая на ощупь вода, и ее мутные капли нехотя покатались по доске. Они лениво отрывались от нее и шлепались на рыхлую землю, которая тут же впитывала их, а на месте падения некоторое время оставалось мокрое светлое пятнышко.

На обратной стороне доски мною было потревожено большое количество червей и еще каких-то бесцветных плоских многоножек, которые теперь противно шевелились и влажно блестели на свету. Я брезгливо выпустил доску из рук. Она облегченно шлепнулась на землю и заняла свое прежнее место. Мой взгляд перешел с пола на единственное крохотное оконце.

Оно было заметно перекошено и походило на параллелограмм. Тонкое стекло, помутневшее от времени, треснуло в нескольких местах. Нижний левый уголок был и вовсе без стекла, его заменяла тонкая, тусклая, с неровными краями слюдяная пластинка, плотно законопаченная у основания кровавистого цвета мхом. Сверху окошко было полностью затянуто густыми пыльными тенетами с множеством иссохших насекомых на них.

Я решил выбраться из зимовья. Опираясь на шероховатые

рассохшиеся бревна стен, еле-еле поднялся и с пригнутой головой стал медленно передвигаться к двери, пока не вышел наружу. Потревоженная нога вновь заболела.

Небо было пасмурным. Низкие тучи неторопливо переваживались с одного края неба на другой и прятались за пологим увалом.

Теперь, когда я выпрямился почти в полный рост, то был чуть ли не с избушку высотой. Она глубоко просела в землю и при этом заметно накренилась на один бок, а пологая крыша только самую малость возвышалась надо мной.

Зимовье и в самом деле было слишком дряхлым и давно заброшенным. Все бревна были насквозь, до сердцевины трухлявые. И было очень удивительно: как они еще держатся! Я неосторожно ткнул пальцем в одно из бревен, и палец полностью погрузился в сырую набухшую мякоть гнилого дерева, без труда проломив тонкую верхнюю корочку. Невероятно! Каким чудом держатся эти хлипкие стены! Внутри бревна по моему пальцу кто-то прополз. Я с омерзением выдернул его и стер с кожи оставшиеся частицы рыжеватой мокрой трухи. Прошел за угол зимовья.

Это место облюбовали муравьи. Огромнейший муравьиный дом, больше метра высотой, обхватывал ветхий угол с обеих сторон, словно поддерживал его. Сам угол тоже был испещрен мудренными ходами муравьев. Куча веточек и хвоинок была словно живая от суетливого движения лесных тружеников. «Неплохо устроились!»

Обойдя зимовье, вновь окинул его взглядом. Какое оно было жалкое и убогое! Махонькое. Метра два в ширину да около четырех в длину, оно сиротливо приткнулось в безбрежной тайге на краю небольшого, мало кому известного озера.

Говорят, что раньше. В конце тридцатых годов, в нем обитал какой-то нелюдимый бродяга, невесть откуда взявшийся и живший только тем, чем тайга богата. Но неизвестно, когда он вдруг бесследно сгинул. Может быть, затянуло беднягу в трясин-

ну. С тех пор изредка сюда заглядывали охотники, чтобы переждать холодную ночь, а вскоре и вовсе зимовье было забыто, отчего и пришло в полное запустение.

Так, в воспоминаниях, прошло полчаса. Сильное чувство голода напомнило о том, что необходимо поесть. Войдя внутрь зимовья, я подошел к рюкзаку, вытащил из кармашка горсть размокших, пахнущих болотной влагой сухарей. Торопливо съел их и слизал с ладони размягшие крошки. Есть захотелось еще больше. Кисловатый промозглый запах помещения странным образом возбуждал аппетит. Я вспомнил про уток.

Вытащил одну и, припадая на больную ногу, снова вышел из зимовья. Стал торопливо отеребливать. Перья потрескивали, послушно выдергивались под рукой и оседали на землю пестрыми парашютиками.

Теперь оставалось самое главное: разжечь костер. К великой радости, шагах в десяти от меня черным корявым скелетом высилась засохшая ель. Дрова есть! Но прежде, чем дров было заготовлено достаточное количество, несколько раз пришлось проделать этот путь туда и обратно.

Когда я принес последнюю охапку веток, то уже с трудом держался на ногах. Поврежденная нога снова заставила меня сесть. Сердце от возобновившейся боли словно сжалось в комок, и кровь жарко запульсировала в кончиках пальцев.

Я переждал, пока боль успокоилась, опять взял нож, выпотрошил утку, разрезал на кусочки и осторожно продел их по одному на заранее приготовленные, заостренные палочки. Из бокового кармана куртки достал коробок спичек. К счастью, он был сухой. Выложил костер «колодцем», воткнул в землю палочки с утиным мясом и поджег бересту. Она вспыхнула, мгновенно съежилась и почернела. Язычки пламени перебрались на тонкие ветки с засохшей смолой, расплзлись яркими дрожащими пятнами по мху, и вскоре костер запылал, выбрасывая горячие и сухие всполохи огня.

Охваченные пламенем ветки шумно трещали, причудливо

изгибались и лопались от пышущего жара. Горящая расплавленная смола тоненько свистела и пускала едкий сизоватый дым. Он покалывал глаза и приятно щекотал нос терпким горьковатым запахом. Я любил этот запах! Запах таежного костра. И с наслаждением вдыхал его.

Кусочки мяса вкусно запахло жареным. Я снова подбросил в костер ворох сухих веток, стал наблюдать, как они раскаляются и уходят в огонь и дым, оставляя лишь небольшую кучу серого пепла.

Мясо было готово. Я вытащил палочки из земли, взял одну в руки и стал дуть на еще шипящее от расплавленного жира мясо. Обжигая пальцы, отрывая маленькие кусочки и жадно ел, шумно и часто вдыхая ртом воздух.

Каким необыкновенно вкусным показалось мне это мясо! Обжаренное на костре, крепко пахнущее дымком, а местами еще сыроватое, оно словно таяло во рту, и я жмурился от удовольствия.

Насытившись, я пересел на небольшой уступ берега и обмыл в озере руки. Вода была слегка теплой. И еще она показалась мне очень приятной, какой-то необыкновенной мягкой для кожи. Успокаивающей.

«А что, если я отпущу в нее ногу? — подумалось сразу мне. — Хуже не будет».

Кривясь от боли, я стянул сапог. Потом закатал штаны, размотал портянку и погрузил ногу по колено в воду. И надо же! Почти сразу боль успокоилась! Я изумленно смотрел на воду. Как же я с самого начала не догадался так сделать! В ноге стало слегка покалывать, видимо, вода проникла в кожные поры. «А что, если попробовать пошевелить пальцами? — Пошевелил. — Двигаются!».

Я привалился спиной к гладкому стволу лиственницы и взглянул на небо. Оно успело к этому времени проясниться. Только одинокие облака степенно плыли по небосводу и замысловато меняли свои очертания. Уже вечерело. Солнце клонилось к

юго-западу, и края облаков светились размытым, желто-оранжевым светом. Они опрокинуто отражались в спокойной воде Горемычного озера, которое тоже преобразилось под лучами солнца. На другом его конце, почти возле берега, шумно плеснула крупная рыба, и по зеркальной глади пошли частые бугристые круги, растягивая в разные стороны светлые пятна отражающихся облаков. «Богатое, наверно, озеро, — подумал я. — Надо будет прийти сюда с удочкой». И тут же усомнился, едва поглядел на поврежденную ногу и вспомнил свое плачевное нынешнее положение: «Калека, а туда же — рыбачить!»

Долго еще сидел. Провожая взглядом стремительно летящих уток, слушал шорохи тайги да заунывное писклявое гудение комаров вокруг, которых отпугивал поддерживаемый мною костер, и они пока не слишком досаждали.

Когда ветки кончились, и костер стал затухать, солнце уже коснулось края далекого косогора и стало багровым. От озера потянуло холодком. Умиравший огонь перестал отгонять полчища комаров, и те с назойливым звоном стали виться вокруг меня, садиться на от открытые части тела.

Я вынул ногу из воды и оглядел ее. Отек стал меньше. Я даже глазам не поверил. Чудо какое-то! И боль гораздо меньше. Вода-то в озере, видать, целительная. Я намочил портянку в озере, намотал на ногу, поднялся и побрел к зимовью.

Изнутри крепко притворил за собой дверь, сел, навалился на неровную стену и больше никуда в тот вечер не выходил. Бессмысленно глядел в окно, а когда за окном стемнело, и тайга погрузилась во мрак, заснул.

На следующий день лил дождь, и мне пришлось безвылазно просидеть в избушке. Разжечь костер не было никакой возможности, поэтому всю мою еду составляли только те два кусочка утятин, которые остались со вчерашнего дня. Настроение было столь же пасмурным, как и погода. Лишь один раз я отважился выйти под дождь, дойти до озера и заново намочить портянку, чтобы обмотать заживающую ногу.

Большим преимуществом было уже то, что в такое промозглое ненастье я был сухим и находился в относительном тепле. Зимовье не пропускало отвесных капель дождя, а впитывало их в рыхлую замшевую крышу. Я сидел на досках и чувствовал себя в этой пустой комнате потерянным, когда глядел за окно на нудный холодный ливень.

Всего я прожил в зимовье три дня. За это время боль в ноге окончательно отступила, отека уже совсем не было, и я мог передвигаться, почти свободно переставляя ногу.

На четвертый день я наконец вышел из зимовья и неторопливо отправился в сторону села...

... Шесть лет спустя, я вновь, волею случая, пришел к берегу Горемычного озера. То, что предстало моему взору, заставило сжаться сердце.

Зимовье развалилось.

Я с невольной горечью смотрел на его останки. Рухнувшие бревна лежали в беспорядке. Некоторые, придавленные другими, были сплющены и переломились, другие выглядели трухлявыми концами из-под горбатой и распавшейся на части крыши. Муравьиная «хижина», которая занимала раньше только угол зимовья, теперь разрослась вширь и укрывала значительную часть основания. Вся масса насквозь прогнивших бревен еще больше вдавилась в топкую землю и была почти незаметна, стоило отойти от нее метров на тридцать.

Чувство жалости, даже сострадания, и большой благодарности шевельнулось в моей душе. Да, я был благодарен этому зимовью и этому озеру. Благодарен за то, что они помогли мне в трудную минуту, когда я уже почти отчаялся в безысходности своего положения.

Не помню, каким образом. Но я вдруг очутился на коленях и без ложного стыда склонился в долгом поклоне перед жалкими развалинами старого жилья. Тогда, шесть лет назад, зимовье укрыло меня, покалеченного и обессиленного, от дождливой непогоды, от холодных осенних ночей, радушно приютило



в своих сиротливых стенах, и я чувствовал себя обязанным ему в своем благополучном возвращении домой.

И вот теперь, вновь очутившись на этом месте, я отдавал последнюю дань человеческой благодарности, опустившись на колени. А передо мной грустно чернели бесформенные остатки заброшенного зимовья.

## ДОМ НА МЕРТВОЛЕСЬЕ

Этот дом предстал моему взору, когда я вдруг совершенно случайно вышел к нему, возвращаясь с охоты.

Лесная избушка или скорее все-таки дом, был довольно странным. Как в своем расположении, в глухом таежном бездорожье, так и в своем обличье. На удивление ветхий сруб шесть на шесть метров, четырехскатная, редкая в наших краях, крыша, дверь прямо внутрь, без сеней и... всего одно маленькое окошко. Как глаз. Это было самое непонятное для такого крупного строения.

Никто не знал его точного нахождения в тайге. Все осторожные люди далеко обходили те места, где он предположительно находился. Но ходили жуткие слухи, передаваемые из уст в уста только шепотом, что этот дом мог непостижимым образом передвигаться по лесу. Иначе как можно объяснить, что вдруг в совершенно другом, хорошо знакомом месте, охотник просто остолбеневал от удивления и смутного ужаса, когда неожиданно видел перед собой четкие очертания одноглазого лесного призрака.

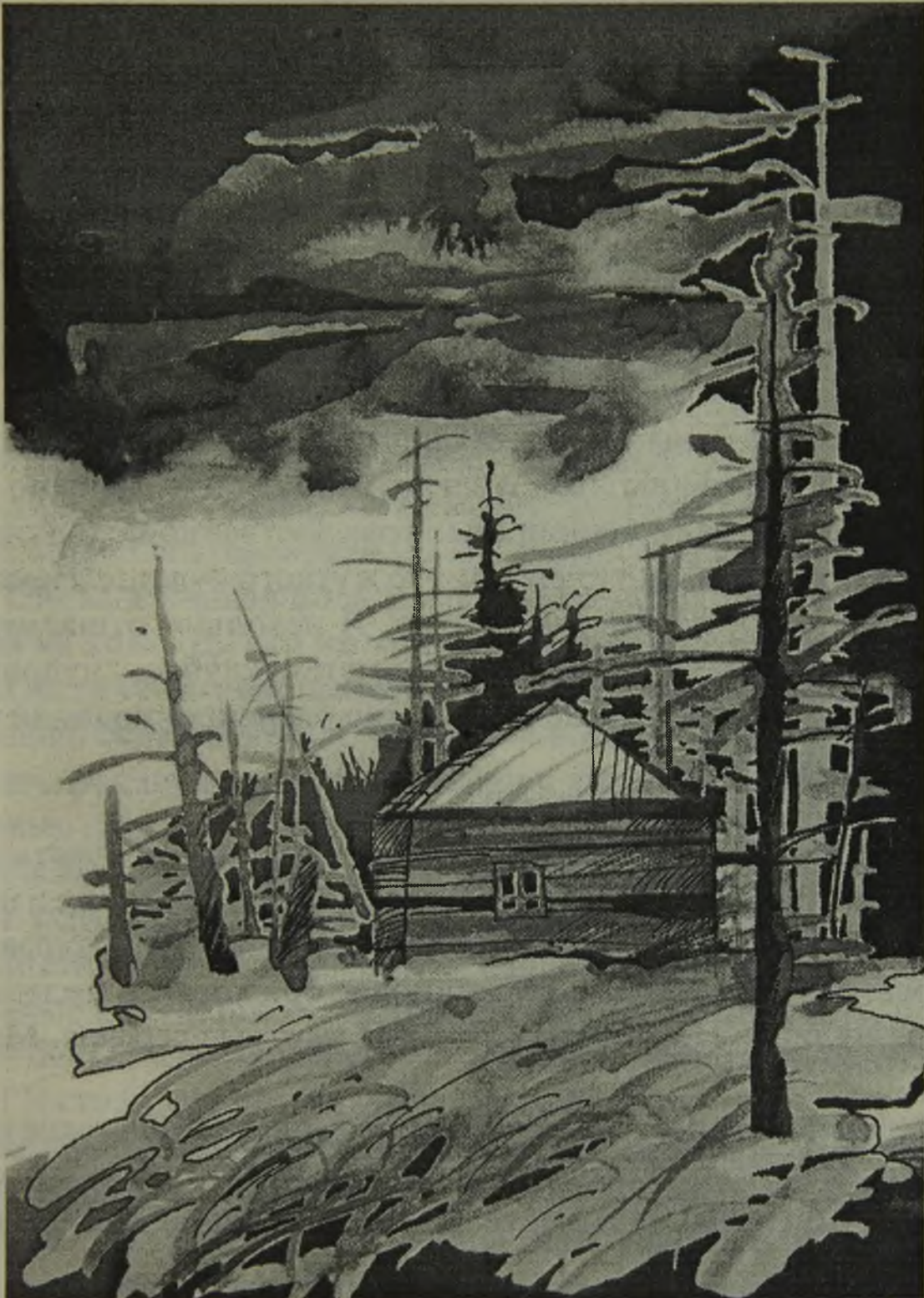
Итак, я случайно вышел к нему. Загадочная сила привела меня сюда. Это было совсем не по пути моему обычному возвращению с охоты в этих местах. Что-то необъяснимое заставило с самого начала уклоняться все левее и левее от знакомой тропинки, пока я не оказался здесь.

Здесь. В самой сердцевине мертволесья. Тяжелый дух исходил от гнилой земли этого кладбища деревьев-мертвецов. Угрюмыми, обветренными до белизны скелетами высились они среди редких островков чахлого мха и хищно целились в пустынное небо корявыми когтями ветвей. Даже ненароком залетевшая сюда птица остерегалась опуститься на их безжизненные кроны, как будто извечное проклятье витало над мертволесьем. Только ленивый, дремный ветер путался в развалинах ветвей, и те надсадно, зловеще шипели и скрежетали. И еще долго леденящие душу стоны отдавались эхом внутри меня, пока я с невольным напряжением озирался вокруг. Нехорошее место. Мертвое.

И в то же время каким-то шестым чувством, каким-то почти животным инстинктом я осознавал, что не все здесь так мертво, как кажется. Я чувствовал на себе невидимые взгляды. Влекущие и давящие, отбирающие волю. Но передо мною были только деревья. Мертвые деревья. Я снова обернулся.

И увидел его. Казалось, он возник из пустоты. Так и было. Еще минуту назад на том месте не было ничего кроме моховых кочек да тупого копыа сломленной березы. И теперь, когда он так неожиданно, врасплох предстал перед глазами, мое состояние было сравнимо лишь с тем, когда я однажды, сев в лесу, потревожил отдыхавшую рядом гадюку. К счастью, тогда все кончилось благополучно. Змея только слегка приподняла голову, поводила языком в мою сторону и, мгновение помедлив, исчезла в густой траве. Но сейчас ничего подобного не случилось. Дом не исчезал.

Я стоял и с хмурым интересом разглядывал его. Он манил к себе и в то же время отталкивал, стоило вспомнить многочисленные истории о нем. Я осторожно приблизился. Вокруг по-прежнему было зловеще тихо. Даже отчетливо было слышно участившееся биение сердца. Казалось: раздайся малейший звук внутри дома, и я тут же распластаюсь на кочках среди мха, держа наизготове ружье. Но вязкая, гнетущая тишина как будто заглотила все звуки в свое безмолвное чрево.



Я подошел вплотную к дому и краем глаза заглянул через окошко внутрь. В единственной комнате царил глубокий полумрак. От рамы и стен до тошноты пахло гнилью и плесенью. Сама их поверхность была скользкой и липкой на ощупь.

В то время как я пытался через стекло разглядеть обстановку дома, привыкая к недостатку света внутри, всем телом почувствовал вдруг, что сзади надвинулась огромная мрачная тень и угрожающе нависла надо мной. На какое-то мгновение я оцепенел и словно прирос к земле, молниеносно и бессильно воображая: «Что это?!». Но уже в следующий миг с бешено колотящимся сердцем развернулся и расширенными глазами впился взглядом в *то*, чем *это* могло быть.

О, боже! Это была громадная почти черная туча. Она захватила больше половины неба и заглотнула солнце. Именно заглотнула! Ее мертвенно-синюшные края явственно походили на хищно скалящуюся пасть неведомого жуткого чудища. Неуклюжего, горбатого, но безжалостного. Я невольно отшатнулся, пораженный гнетущим зрелищем. Заметно клубясь, чудовище неотвратимо быстро разрасталось и гасило непроницаемой чернотой голубую высь.

«Черт! Откуда она взялась?»

Я замороженно смотрел на тучу, не шевелился и чувствовал ее холодное тяжелое дыхание. Она громоздилась все ниже и ниже над мертволесьем, еще немного и уродливые трупы деревьев, казалось, начнут царапать ее свинцовое брюхо. Нет, неспроста эта туча-чудище. Неспроста. И дом. И мертвые деревья. Мертвые?

От дальнего холма уже приближалось плотное широкое крыло дождя. Издали оно было похоже на густую паутину или сеть для ловли растерявшихся жертв. Похоже, дождь собирался идти долго.

—А я как раз без зонтика, — вслух ухмыльнулся я и...испугался своего голоса. Он был чужим!

Туча закрыла видимый горизонт и вдруг остановилась, слов-

но выполнила свою цель. Застыла прямо надо мной. Тоскливый шум ветра стих, и я ясно уловил дробный шорох надвигающегося ливня.

Откуда-то из глубины памяти, из детства, до меня донесся хриплый голос деда: «Есть в нашей тайге, внучек, нехорошие места. Знай это на будущее. Но больше всего остерегайся одноглазого дома. Слышал про это? Вот. Но если, не дай бог, набредешь на него - никогда не заходи внутрь. Никогда!»

Тут же невольно вспомнилось, что каждый раз, когда из села пропадали в лесу люди, и их не могли найти, то несчастье непременно, с бессильным суеверием списывалось на счет одноглазого дома-призрака. «Он забрал». Я очнулся от мыслей и с затаенным страхом посмотрел на старый угрюмый дом.

На лицо капнули первые холодные крупные капли. Я вскрикнул от боли. Они были, как укусы! Теперь две капли попали на руку. Снова жалящая боль и два красноватых припухших пятнышка на коже. Да что же это! Я отпрянул в сторону и вскинул взгляд на тучу. В нескольких местах из ее брюха вытягивались и клубились белесые языки, шарили в воздухе и тянулись в мою сторону. Как щупальца! Я закричал и кинулся к дому, прочь от колющих капель и этого пугающего наваждения. Наказ деда напрочь вылетел из памяти, и к тому же у меня не было выбора, чтобы укрыться от ужасного дождя. Да и полумрак комнаты невидимой могучей силой притягивал к себе. Манил. Всасывал.

Самое противное было то, что зачарованный разум плохо сопротивлялся этому. Да что там плохо! Он совсем не сопротивлялся! Я стоял уже под навесом у самой двери.

Разразился ливень. Больше медлить было нельзя. «Проклятая туча! Это ты загоняешь меня туда!» — слабо возмущался рассудок.

Вздрагивающей рукой я коснулся ручки двери, будто собирался вскрыть что-то запретное, и дернул ее. Потом еще. Дверь со скрежетом отворилась. Показался темный проем. «Как пасть чудовища!» — подумалось мне.

Настороженно вошел внутрь. Сзади глухо захлопнулась дверь. Я вздрогнул.

Сейчас, из-за тучи и плотного проливного дождя, здесь стало еще сумрачней. Окошко величиной с сиденье табуретки да еще с толстой рамой в виде перевернутого креста почти не пропускало остатков света. Но вот предметы начали проступать из темноты.

«Убранство» комнаты было скудным и удручающим. Массивный, грубо сколоченный стол у окна, на стене старинные сломанные ходики с тяжелым ключом от амбарного замка вместо потерявшейся гирьки, полуразрушенная печь, мрачно белеющая справа от меня, а в дальнем левом углу стояла древняя железная кровать метровой ширины. Это — все. Больше не было ничего. Впрочем, нет. Еще одна вещь. На кровати лежал уже ветхий от времени матрас с несколькими красными заплатами. Вот и все. Ничего страшного. И все-таки неприятное чувство не покидало меня. Как будто в доме присутствовал кто-то еще. Невидимый.

Я подошел к столу.

Обыкновенный стол. Заляпанный, искарябанный ножом, многочисленными корявыми инициалами. Стол как стол, как в любой другой охотничьей избушке.

И тут я заметил побуревшую, витиевато выцарапанную надпись. «Интересно, кому захотелось так долго корпеть над этим?» Разобрать ее было трудно, и я принялся оттирать буквы рукавом куртки. Необъяснимая спешка охватила меня! Я непременно *хотел* прочесть написанное. Наконец фраза стала видна более-менее отчетливо.

*«ВХОДЯЩИЙ В СЕЙ ДОМ — ЕСТЬ ИЗБРАННИК .....»*

Я остолбенел! Что бы могла означать эта загадочная фраза? Каков ее тайный смысл?

Надпись явно была неполной. После слова *избранник* должно было быть еще одно слово из шести букв. Но оно было тщательно соскоблено ножом. Теперь на месте букв красовались шероховатые углубления. Ровно шесть!

Меня пробил пот! Судорожно прочел надпись еще раз:

*«ВХОДЯЩИЙ В СЕЙ ДОМ — ЕСТЬ ИЗБРАННИК .....»*

Чей? Чей я теперь избранник?!

Догадки бешено завертелись в голове, избирая те, в которых было шесть букв. Чей же?

*ЛЕШЕГО?*

*САТАНЫ?*

*СМЕРТИ?*

Подходило любое. И было страшно, что никакие другие слова больше не приходят на ум. Догадка будто зациклилась на этих словах.

С трудом заставил себя отойти от стола. Взгляд был просто прикован к надписи. «Я — избранник!.. Для чего?» — крутилось в голове, пока я отступал шаг за шагом назад. Суеверный страх хлынул в мозг. Сердце то бешено колотилось, то, сжимаясь, казалось, совсем останавливалось. Я чувствовал, как оно, сжимаясь, замирало в груди, и с ужасом думал: остановилось! Но новый неуверенный толчок подтверждал, что я еще жив!

Я по-прежнему медленно (боже, как медленно!) удалялся от стола. И вдруг за что-то споткнулся, стал, теряя равновесие, падать назад. От внутреннего перенапряжения, готового выплеснуться в любую секунду наружу, я закричал, вновь пугаясь своего чужого голоса.

Мощный удар в затылок оборвал крик. Сознание угасло.

Сознание. Какая капризная вещь — сознание! Способное в мгновение ока оставить нас, оно очень медленно возвращается.

Наконец я открыл глаза и застонал. Голова находилась под кроватью. До меня дошло, что это об ее железный край я ударился при падении. Но было ли все это случайно?

Голова страшно гудела и ныла. Я осторожно дотронулся до затылка и досадно скривился. Затылок и часть шеи сильно отекли от удара. Я бросил взгляд туда, где мог запнуться. Из половицы торчал гвоздь. Немного. На полсантиметра.

— Скотина! — процедил я ему сквозь зубы.

И тут же гвоздь накрепко вошел обратно в половицу.

Я окаменел! Остекленеными глазами уставился туда, где только что торчал виновник моего падения. Гвоздя не было. Что за бред! Я готов поклясться, что он был!

Липкий пот выступил на ладонях. Снова вернулся страх.

Что-то изменилось еще. Я не мог понять, что именно, и ошалело водил глазами по комнате, пока взгляд не упал за окно. Только тогда понял, в чем дело. Кончился дождь. Снова навалилась непроницаемая тишина. Непривычная тишина.

Подняв руку, я взглянул на часы и едва разглядел блестящие стрелки. Они остановились на половине восьмого. Сколько же тогда сейчас? За окном смеркалось. На смену дождю незаметно подкрался сырой тяжелый туман, от которого уже в двадцати шагах деревья полностью размывались в молочной белизне.

«Черт возьми! Кажется, я заперт здесь на всю ночь!» — с затаенным испугом подумал я.

Место мне явно не нравилось! Надпись. Гвоздь. Кровать, словно прокрустово ложе, с матрацем, красные заплатки которого сейчас привиделись мне пятнами крови. Остановившиеся часы. Полуразрушенная печь. Зловещая тишина. Все это нагнетало дурные мысли, от которых невозможно было избавиться. Я был избранником этого заколдованного места. Пленником! Во власти того, *другого*, которого я не видел, но постоянно чувствовал его безмолвное присутствие, его смердящее, одурманивающее дыхание в спину.

Словно в подтверждение этому, могильную тишину нарушил крадущийся шорох и скрип на чердаке. Сверху посыпались частички трухи.

Я весь сжался и чуть не задохнулся от холодного ужаса! Это он! Он! Кто же еще! *Хозяин* дома! Он пришел за мной! Сейчас спустится сюда.

Труха запершила в горле. Не в силах сдержаться, я закашлялся.

Шорохи внезапно прекратились. Но я ждал, что вот-вот они начнутся снова. Интуитивно дотянулся до ружья и снял с пре-



дохранителя. «Пусть только сунется! Я так просто не дамся!»

Я вперился взглядом в дверь. С отчаянием вспомнил, что она не заперта, а лишь закрыта. Но противная тяжесть не позволяла сдвинуться с места, чтобы встать и хотя бы накинуть крючок. Все тело словно налилось свинцом. Меня настигла паника!

И тут же безжалостная мысль стегнула в мозг: «А есть ли вообще этот крючок?!»

Кто-то ходил уже с другой стороны дома. Я чувствовал его спиной, улавливал затаенное, но жаждущее дыхание.

Хрустнула сухая ветка. Как выстрел. Дрожь прошибла тело. Голову будто облили ковшом кипятка. Я крепче сжал ружье, палец плотно прирос к курку.

Теперь к шорохам с улицы добавились новые. Скрипел сам дом. То тут, то там раздавался жуткий звук. Он был похож на скрежетание зубов. У меня почти не было сомнения, что дом ожил.

Гнетущие звуки все прибавлялись. Что-то царапалось под полом, и в мыслях представлялись иссохшие когтистые пальцы существа из преисподней, что-то шелестело по стенам, неудержимо ползло ко мне, но я никак не мог разглядеть это в темноте. Темноте густой и враждебной, которая со всех сторон облепляла меня.

Наверное, не существует пределов ужаса, который может испытать человек. Разве что смерть. Наоборот, кажется, что по какому-то непостижимому закону темнота, в которую он погружается, становится все гуще и гуще, ужас накладывается на ужас, еще более душераздирающий, пока, наконец, окончательная завеса тьмы не скрывает все. Самое страшное здесь — до каких границ ужасного может дойти человеческий рассудок, оставаясь при этом здоровым и дееспособным.

Вдруг взгляд снова, словно под действием магнита, метнуло к окну. Я почувствовал, как поднялись дыбом волосы!

За перевернутым распятым рамой в трех шагах от дома стоял *он* и жадно смотрел на меня. Я невольно отшатнулся!

Из-за густой пелены тумана я различал его светлый узкий

силуэт. У него были черные глаза. Но — нет. Это были не глаза. Это были пустые черные глазницы. Бездонные, как пропасть. Они-то и уставились на меня. Немигающие!

Рассудок у меня помутился. Я истошно заорал, но даже не услышал своего нечеловеческого вопля! Вскинув ружье, выстрелил сразу из двух стволов.

Грохот выстрелов, звон стекла и сильная отдача на какое-то время вернули мне сознание. Жадно вдыхаемый воздух обжигал легкие. Я боялся взглянуть за окно!

Но я взглянул.

*Хозяин* дома по-прежнему зловеще и алчно глядел на меня, и (я готов был руку отдать на отсечение) он немного приблизился. Я с содроганием зажмурился.

Цветные пятна пошли перед глазами. Сознание вновь стало куда-то уплывать, отделяться от тела. Из последних усилий я пытался вернуть его, цепляясь за здоровые островки побежденного рассудка. Наконец, вспомнил один верный способ. Чтобы сконцентрировать мысли, нужно было без ошибок сосредоточенно повторять какую-нибудь скороговорку.

«Наш Полкан попал в капкан. Наш Полкан попал в капкан. Наш Полкан попал в капкан.....» — стал я твердить шепотом.

На десятый раз я вдруг резко осекся и задохнулся от ужаса!

Вспомнил свою школьную кличку «Полкан», и страшный смысл скороговорки окончательно парализовал разум. Все окружающее расплылось перед глазами, и я, не в силах больше бороться, провалился в черноту небытия...

Когда очнулся, понял, что уже утро. В разбитое окно просунулся желтый рукав солнечных лучей.

Голова еще гудела. Было ощущение, словно она существует отдельно от тела. Руки по-прежнему судорожно сжимали ружье. Я вспомнил все, что произошло в минувший вечер, и бросил испуганный взгляд за разбитое вдребезги стекло окна.

Туман разошелся, и на том месте, где вчера стоял *он*, замерла в утренней тишине береза. Но как пугающе знакомы были ее очерта-

ния! Светлый узкий ствол и... два пятна пармелии на бересте. Это их я принял вчера за глазницы *хозяина* дома-призрака.

Вздых облегчения вырвался из груди.

«Все-таки надо уходить отсюда», — подумалось мне.

Я медленно встал и пошел к двери. Бросил последний взгляд на комнату. На развалины печи. На стол, в надежде на то, что надписи не будет. Но надпись была. По спине опять пробежал неприятный холодок.

«Нет, оставаться больше нельзя», - окончательно решил я и толкнулся в дверь.

Дверь не отворилась.

Дом не хотел выпускать меня.

Вчерашние страхи стали снова возвращаться. Ждать было нельзя!

Я метнулся к окошку, выбил искореженную выстрелами раму и с трудом стал протискиваться в его тесный квадрат. Мысль о том, что дом и *тот, кто* живет в нем, не хотят упускать меня, неотступно владела мной, но я все-таки выкарабкался наружу и плюхнулся на мягкий сырой мох. Как с того света!

Меня все-таки не покидало желание узнать, почему же не открылась дверь? Я повернул за угол дома и приблизился к входу. Снаружи она была закрыта на крючок, которого я вчера, видимо, не заметил. Это показалось мне более чем странным, но я попытался успокоить себя тем, что, когда вчера дверь захлопнулась, то крючок сам от встряски случайно попал язычком в петлю. Случайно? Все-таки полностью успокоить себя я не мог. Слишком много случайностей.

Пора было уходить с этого чертова места!

Я закинул ружье на плечо и побрел через поляну в сторону от проклятого дома. Наконец-то заточение окончилось! Уже дошел до края поляны, но вдруг что-то снова заставило оглянуться назад. И неприятные мурашки пошли по коже!

Дом-призрак одноглазо смотрел вслед мне!

«Но... как же так? Значит, он... повернулся!» - осенила меня

догадка. Значит, он следит за мной! Что же делать? Как уйти? Как избавиться от него?

И тут меня озарило!

Я поднял вперед правую руку и трижды перекрестил одноглазое наваждение. Потом медленно закрыл глаза и немного сбивчиво прочел молитву «Отче наш».

Когда я неуверенно разомкнул веки, дома уже не было.



## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЛУСТАНКИ ЖИЗНИ

Старики: Этюд . . . . .	7
Взгляд матери . . . . .	13
Мальчик и звезды: Лирический этюд . . . . .	16
Здравствуй, солнце . . . . .	21
Река Кудёма . . . . .	27
Чарушинская скамейка . . . . .	34
Дура Катька . . . . .	43
Анастасия . . . . .	50
Жили-были старик со старухой . . . . .	57
Хороша Манька! . . . . .	64
Дорога под звездами . . . . .	71
Аллах велик! . . . . .	78
Баба Ганя . . . . .	87
Перламутровая расческа . . . . .	97
В гостях у Найды . . . . .	106
Побег . . . . .	113

### ОХОТНИЧЬИ ТРОПЫ

Громовская избушка . . . . .	127
Поединок . . . . .	133
Забавный случай . . . . .	141
Ведьино болото . . . . .	143
Заброшенное зимовье . . . . .	150
Дом на мертволесье . . . . .	159



*Автор выражает глубокую благодарность за помощь в издании книги  
Сергею Евгеньевичу Корепанову*

**Черкашин П. Р. Анастасия: Рассказы** (Павел Черкашин; Ред. С. Б. Шумский; Худож. Д. Н. Королев.— Тюмень: Тюменский издательский дом, 1999. — 172 с.: ил. — (Сер. — Первая книга»).

В первую книгу молодого тюменского автора, уроженца села Мужы Шурышкарского района Тюменской области, вошли рассказы о жизни сибирской глубинки, которую он знает не понаслышке.

ББК 84 Р6.

© Черкашин Павел Рудольфович

## АНАСТАСИЯ

ИБ № 027

Сдано в набор 16.08.1999 г. Подписано в печать 9.09.1999 г.

Формат 60x84 1/16. Гарнитура «Таймс».

Бумага для офсетной печати. Печать офсетная.

Объем 8,22 усл.-печ. л.

Заказ 2902. Тираж 1000 экз.

---

625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 11.

Тюменская областная типография







X



74142004  
Окружная библиотека

